

1. КАК СВЕТЕЛ СНЕГ... (СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ГЕРМАНИИ)

xxx

А умирать - на родину, дружок,
В родное петербургское болото...
Всего один пронзительный прыжок
На запасном крыле аэрофлота!
Скользнёт пейзаж, прохладен и горист,
Нахлынет синь - воздушный рай кромешный.
И ни один угрюмый террорист
Не просочится в раструб кэгэбэшный...
(Хранит Господь и воинская рать...)
Потом припасть к земле и повиниться:
Стремятся все в Россию умирать,
А жить - так вся Россия - за границу...
Как светел снег! Как церковь хороша!
Теней друзей порука круговая...
На честном слове держится душа.
На честном слове...
Крепче - не бывает.

xxx

Помню, как это было: письмо - из-за рубежа...
Ну, конечно, разрезано... (Эти ли станут стесняться...)
В коммуналке соседи, на штемпель косясь, сторонятся
и швыряют картошку в кастрюли, от гнева дрожа.
Этот странный придуманный мир... Даже чуточку жалко...
Этот люмпенский пафос то ярости, то доброты.
Если кто-то помрёт - в шесть ручьёв голосит коммуналка,
и несёт винегрет, и дерётся за стол у плиты....
Где теперь вы, соседки, чьи руки пропахли минтаем,
а песцы - нафталином... Да живы ли? - Ведает кто...
Иль сердца разорвались, узнав, что, хоть в космос летаем,
но вдругих-то мирах: что ни осень - меняют пальто...
Донесли ли до вас басурманского Запада ветры?
Вот и нет уже в „Правде“ размашистых карикатур
на чужих президентов...

Я помню квадратные метры,
По четыре - на жизнь.... (Напасись-ка на всех кубатур...)
Эта горькая честь, эта гордая участь Победы ...
Как блестели медали, и слёзы, и ткань пиджаков...
А ещё был алкаш, он без вилки - руками - обедал,
и мечтал, что весь мир скоро освободит от оков...
Он дверьми громыхал на крамолу моих разговоров ...
Телефон - посреди коридора, прибитый к стене-
на бордовых обоях среди золотистых узоров,
что поблекли давно и достались дописывать - мне...
Может, так и пестреют друзей номера...
Или всё же
Разразился ремонт и явился хозяин всему...

И - конец коммуналке. И сгнули пьяные рожи.
Как вишнёвый мой сад... Так затеплю хоть строчку ему...

2001

xxx

Как проста в России нищета:
Нету хлеба - понимай буквально...
Блюдо ослепительно овально
Как ночного тела нагота.
Вот и эта пройдена черта.
Время - вспоминать сентиментально...

Уходя - не медли, уходи -
Или мозг взорвется в одночасье...
Господи, какое это счастье
Если только юность позади..
А теперь - и Родина.. В груди
Как в стране - разруха междувластья.

И куда мы каждый со своим
Скарбом скорби... Темен сгусток света.
Постоим. Рука в руке согрета.
Зябко, но не холодно двоим.
И услышим в шорохе руин
Лепет листьев будущего лета...

1996

xxx

У эмигрантов не было взрывчатки,
Им было всё - действительно - равно...
Они меняли страны - как перчатки,
И всюду пили терпкое вино.

И сторонились праздников народных,
И если шли - то в смертный батальон,
Чистопородных предков благородных
В непропитый защелкнув мицальон...

А если Бог давал ещё попытку:
Гарсоном - в бар, извозчиком - в такси, -
На ветровое клеили открытку,
Шепча почти молитвенно: „Росси...“

Я тоже здесь, мне тени их всё ближе...
Горчит лимон, изранивший вино...
И я, ночами шляясь по Парижу,
Не проиграю память в казино!

1997

xxx

И как будто опять сотворенье начал:
Виноградная дрожь и сгущение красок...
Но всего только шаг до срывания масок
И уже не Венеция - голый причал...

Никогда не стремилась, "чтоб как у людей..."
Может, Ангел Судьбы за терпенье потрафил...
И клюет с белорозовых рук площадей
Ястребиное зренье российских метафор.

Я пила и хмелела полночный Нью-Йорк
Из высотных бокалов /навыдумал зодчий.../
И теперь если сердце отчаянно "ек" -
Значит, в доме случайном почудился отчий...

Я читала размытых огней письма
В перевенутых книгах и Сены, и Темзы...
Отпусти мою руку. Шершава она.
Это в детстве..Чернила..Напильником пемзы...

1997

xxx

Знаю: Родина - миф. Где любовь - там и родина... Что ж
Не вдохнуть и не выдохнуть, если ноябрь и Россия..
Лист шершавый колюч как в ладони уткнувшийся еж,
И любой эмигрант на закате речист как Мессия...
Ибо обе судьбы он изведal на этой земле:
От креста оторвавшись, он понял, что это возможно:
И брести, и вести босиком по горячей золе
Сброд, который пинком отпустила к Истокам таможня...
Для того и границы, чтоб кто-то их мог пересечь
Не за ради Христа, не вдогонку заморских красавиц;
И не меч вознести, а блистательно острую речь!
И славянскою вязью еврейских пророков восславить,
Зная: Родина - мир... Где любовь - там и родина.. Но
И любовь - там, где родина... Прочее - лишь любованье...
Как темно в этом космосе.../Помните, как в "Котловане".../
А в России из кранов библейское хлещет вино...

1998

xxx

В полвека век свой доживать -
Какая, в сущности, банальность...
Вот - стол, вот - лампа, вот - кровать,
В родимых пятнышках бананы...
Как благодарны все за них ...

(Для обезьяны нет чужбины...)
А мне и стопка новых книг
Не в силах скрасить именины.
Там - Ангел мой, где был мой чёрт,
Где неба синего - с овчинку,

Где по лицу ливня течёт,
Где счётчик Гейгера стучит,
Где слову русскому - почёт
И робкий лист приник к ботинку...

1999

xxx

Кизила яркие молекулы,
Кровинки, красные тельца...
И пахнет возрастом календулы
И назиданьями отца...

Мне летний Крым - всегда каникулы.
Забыты происки Каллигулы,
Бонжюр, повадки сорванца!..

И вот, наивней Пиросмани, я
В Европу радостно лечу.
Мне дарит Южная Германия
Кизил, каштаны, алычу.
И немцы - нет, не виноватые,
Заносчивые - по домам...
И слёзы слив продолговатые
Текут лилово по холмам.
С балконов пряно пахнет грилями,
Стоит пожарами герань.
А по холмам - ступали римляне,
В ту, догераневую, рань...
Подсолнух медленно вращается,
И воздух жадно ловит рот...

А детство - нет, не возвращается...
И ничего не воспрещается...
И сердце скорбно причащается
Судьбе бездомных и сирот.

1999

xxx

На площади (зеваки - в сборе,
но мало их - не напирают...)
Выпускники консерваторий
за жалость медную играют...

На площадях всем хватит места...

(Вразвалку - кто, а кто - в обнимку...)
А ну-ка сбацайте, маэстро,
непревзойдённую „Калинку“!..

Монетой мелкой потакая,
смеются, будто раскусили...
Им очень нравится такая,
неприхотливая, Россия:

Когда тихи её куранты,
Когда фронты не напирают...
И с голодухи музыканты
„чего изволите“ - играют...

Ребята, может быть, не надо ? -
Учитесь в армии на „ромбы“...
Глядишь, улыбчивое НАТО
и на Москву обрушит бомбы...

Я помню, как со зверской рожей
пел на закуску дядя Вася:
Мы - люди мирные, но всё же
наш бронепоезд - он в запасе...

Неужто прав сосед-вояка,
что, если выпимши, - скандальный:
стращать всех надо, а не плакать
и на планете коммунальной... -

Пусть крепко помнят круги Данта
и сталинградские окопы...
И как входили музыканты
шеренгой в чёрную Европу...

И кто б военному оркестру
подать осмелился на бублик?..

Я - враг Советов. Но, маэстро,
сыграйте им в канун Сильвестра
Гимн не расхищенных республик!..

(Дни бомбардировки Белграда)

xxx

Я вспоминаю Тауэрский замок,
где ворон, переваливаясь, брел:
полуиндюк - полуорел...
И мудрый - в отдалении от самок...

Мне есть что вспомнить -можно уходить,
забрав с собой нехитрые пожитки:

под веками - две дымчатых открытки,
Нева и Сена, сросшиеся в нить...

А то, что не охотилась на льва -
так это мне и Бог не разрешает;
и умереть нисколько не мешает...
Да и своя дорожке голова...

А то, что рикшу брать не довелось,
и вдоль стены китайской не гуляла, -
переживем...

Там тоже есть немало,
что поглядеть...
Что в Этой - не сбылось...

1996

xxx

Раньше снился Париж:
весь в дрожащих огнях -
разноцветных драже...
(Что, наскучил уже?..)
Сладкий привкус мечты,
конфетти Писаро
и дождей мулине,
и Моне...
Сквозь сиреневый сумрак,
скупясь, проступали черты...
Я привычно дремлю, прислонившись к стеклу,
„Что? – зеваю – Mersi...“
Мне б щекотного сена охапку...
Проси - не проси:
только мутная Сена течёт,
указуя маршрут ремеслу.
Вот и снятся бревенчатый дом и трескучий мороз -
или розовый туф и гортанная речь Еревана...
Prosit; - бедная родина...
Странен обычай и прост:
покидаем тебя, и горбата печаль каравана...
Самарканд нашей Турцией был,
а Европой – Литва...
И на всех языках горечь – клейкая клятва – листва,
поэтический пыл.
Кыш, видение, кыш!
До Невы и Псковы так легко не добраться, а то бы...
И шуршит по шоссе монотонный субботний автобус :
нету денег и времени, - стало быть, снова в Париж...

2001

xxx

Будто в царстве теней – так тиха эмигрантская жизнь.
Только – чу – за спиной – хитроумные шорохи лисьи.
Вот и осень опять. Разноцветная память, кружись!
Прижимайтесь к ногам, потерявшие родину листья...
Это время моё: золотая, без грязи, печаль.
Паутинка блестит... Обойти, не задев паутинку.
С неуютом в крови не Господь ли меня повенчал?
(Если тесно ступне, то едва ли просторно ботинку).
Что-то исподволь жмёт... Может, строчка о Царском селе,
Где лицейское братство бродило в дешёвом портвейне...
Оголилась душа. Разметало друзей по Земле.
И не верность в цене, а наёмный убийца – ротвейлер.
Я породы не той. И не тех предприимчивых вер,
Что идут нарасхват: кто – в сутаны, а кто – в бизнесмены...
Мне явилась звезда, полуночный небесный курьер,
И велела не знать сотрясений плебейской арены.
Молча в чашу уйти, чтоб и солнечный луч не сыскал,
Чтобы вечнозелёной тоскою душа искололась:
И сверкнёт, и окатит такой колокольный вокал,
Что отпрянешь на миг, не узнавшая собственный голос...

2002

xxx

Отсюда - так незыблемо и свято:
Природы русской сочные цвета...
Коза была похожа на Сократа
(Вестимо, до явления куста...)

Пленительная изб архитектура -
Как Пушкин: гениальна и проста...
И как под снегом ежилась сутуло
Стыдящейся березы нагота...

Мне вспоминать - и не навспоминаться,
Как не напиться страннику в пути...
Пустыня Жизнь, мираж иллюминаций
На склоне лет страдальцу не черти...

Все так сбылось, как в школе проходили,
Как блеет в спину пьяный патриот...
А благ мирских и пошлости идиллий -
Избави Бог, что здесь зовется Gott...
1997

xxx

Право, славно- выпить православно,
захрустев огурчиком огонь...

Как вы там Петровна, Николавна
И другие образы тихонь?..

Как вам спится на железных буклях?
Также ль тянет свежестью с реки?
Ваши руки тяжестью набухли
Как на ветках - яблок кулаки...

Вольно вам в предутреннем тумане
Путь заветной тропкою продля...
...Никаких Америк и Германий :
Лишь деревня Редькино - Земля!..

Мне за вас и радостно, и жутко;
Вот звонит наш колокол по ком...
Ну а дочери... Дочки ...в проститутки
Убегли - как были- босиком...
1997

xxx

Повернусь на левый – к чему просыпаться рано?
Всё равно подымается уровень океана...
И пускай не конец, но хотя бы затмение света
обещал нострадамус всем нам на это лето.
Нестерпимо много скопилось на свете мрака.
И под камнем сердца - всегда закуток для рака...
Видно, пробил час, повздыхав, подводить итоги.
Не была на Марсе. Не гладила римской тоги.
Но ещё застала шершавую ласку леса,
где, людей бежав, из себя изгоняла беса.
Мне давно уж ясно, что всякая сласть - от Бога:
одному - пирог, а другому - на дно пирога...
Тем достались Альпы, а этим - весло и Висла.
Кроме счастья, жизнь не имеет иного смысла.
Никакой полиглот не освоит летучий птичий.
Разглядеть бы Лик в блеклых масках земных обличий...
А потом - синева до слёз, благодать, нирвана.
Пена- ртом или бешенство океана?
Растолкай меня, дай мне кофе глоток бодрящий.
Притворюсь, что я всё ещё человек борящий.
А глаза украдкой летят облакам вдогонку,
Зацепляясь то за тетрадку, то за иконку...

2000

xxx

*Лене Дунаевской, кухне Полины Беспрозванной
и подвальной кошке Тине, нашедшей приют.*

На кухне, в полночь, о Цветаевой -
Какое счастье, мы в России...

Друг друга потчевать цитатами
И задохнуться от бессилья,
Рискуя доказать, что гении
Не подчиняются порядку...
...Здесь всё ещё местоимения
Ночами делают зарядку.
Мне хорошо. Я снова думаю
О сути, а не о сутяге.
Храни, Господь, каморку дымную,
Не позабывшую бродяги,
Что в жизнь пустившись карнавальную.
Мечтал, напрыгавшись по миру,
Ласкать чумазую, подвальную,
Свою взъерошенную лиру...

2001

xxx

Эти взгляды в чужие кошелки, и зависть, и спесь,
по которым советских везде узнаёшь эмигрантов...
Весь нехитрый багаж их, похоже, покоится здесь:
в настороженном виде и странных повадках мутантов...
Это надо же как размело-раскидало народ:
одичавшая армия ленинцев бродит по миру
и дивится, что здесь всё не так уж и наоборот –
соблазнителен пир, но чужим не положено к пиру.
Вот и мнится Россия непаханым полем вдали,
зарастает крапивой и всяческим чертополохом.
Господа диссиденты, мы сделали всё, что могли:
отдыхает земля и готовится к новым эпохам...
И придут инженеры точнее немецких часов,
и поправят кресты элегантно-французские внуки.
Зубы ломит колодезной. Сорван железный засов.
А теперь – помолясь – за ремёсла, стихи и науки!..

ОТВЕТ ОДНОЙ УВАЖАЕМОЙ ПРЕСС-СЛУЖБЕ НА ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Не лучи люблю я, а излучины
с их подводным, чуть дрожащим светом.
Не была я винтиком закрученным. -
Мне ли быть раскрученным поэтом?..

2001

2. ДЕТИ ПОЛУКУЛЬТУРЫ

Эта автобиография - невыполненный социальный заказ. Для сборника, который предполагается издать в Оксфорде, требовалось написать о себе пятьдесят страниц, а я исчерпалась уже на десятой. Там, собственно, не кончилось еще даже детство, но мне показалось, что все главное о себе я уже сказала.

Кроме того, от меня, видимо, ждали типичных, действительно, имевших в жизни место, страниц: преследование со стороны КГБ, вынужденный уход в котельную - на самое социальное дно, несостоявшаяся творческая карьера. Но к 1990-му году все это уже стало новой конъюнктурой и общим местом. Внутренний протест против уже "перестроечного" карьеризма вызвал из памяти души совсем иные, невыгодные для "биографируемого", но тоже безусловно правдивые факты.

Уже перечитав написанное, я подумала, что если бы каждый из нас взгляделся в себя не под сиюминутным углом честности, в обществе бы не было такой конфронтации. Ибо все мы жили в этой стране и в этом времени.

ОЛЬГА БЕШЕНКОВСКАЯ

1990. Ленинград.

.

ДЕТИ ПОЛУКУЛЬТУРЫ (АВТОБИОГРАФИЯ)

Родилась в скудном послевоенном. Отец вернулся из какого-то загадочного немецкого "бурга", где был назначен комендантом /Дантом?/ и отозван по доносу кого-то из сослуживцев за "мягкотелость", то есть за то, что отдал приказ делиться армейской кашей с капитулировавшими женщинами и детьми. /После того, кстати, что его маму - мою бабушку, в честь которой меня позже и обозначили, фашисты сожгли живьем в сарае, в белорусской деревне, с двумя мальчиками Борей и Сережей, которым суждено было - было бы - стать моими двоюродными братьями.../

Почему-то представлялось, что ехал он с войны по острокрышной /не гитлеровской, а гриммовской/ Германии все эти - до моего вселения в мир - два года на расхлябанном трофейном велосипеде, о который нехорошими словами спотыкались соседи по коммуналке в узком, как трамвай, коридоре, по причине подслеповатой лампочки /предмета скандалов на тему кто больше жжет/ и повального ежесубботного пьянства.

Отец никогда не пил, вовсе, совсем, ни разу. Друзья вспоминали, как в летной части /деревенская няня рисовала мне - для уразумения - ангела.../ менял он свои законные, "сталинско-соколиные" граммы коньяка и папиросы "Золотое руно" на квадратики пористого шоколада для мамы и Валентина, который не стал в семье старшим, так как скончался трех лет от роду от стремительного тифа в медленном поезде, проталкивавшемся под бомбежками на Урал, как червь - в безопасную глубь земли. Мама, схоронив его где-то на полустанке, наскоро, безымянно, вскоре обезумела в своей ниже-тагильской многотиражке /здесь я прослеживаю некий генный петит.../ от еженощных призраков сына в батистовой рубашонке, и рванулась на фронт, к отцу, под крыло - в смерч... У фронтовых друзей отца были хорошие открытые лица, они иногда собирались за нашим круглым столом с неестественно сверкавшей в полутьме нищеты скатертью; в мандариновом влеске их медалей мнилось что-то церковное, и глоток воздуха вдруг застревал, застывал в натянутом горле как в галерее 812-го года зимой - зимнего дворца, а летом - Государственного /государство - всегда с большой/ Эрмитажа...

Фонетика в детстве воспринимается буквально, как и семантика. Поэтому лучше сочиняет тот, кто мало думает. Получается почти птичий... Я слишком часто морщила лоб вопросами, и первые мои стихи больше напоминали арифметические действия: решения смысловых уравнений, извлечение морального корня. К тому же, вскоре мама по неведению своему вывела меня за руку на прямой путь, ведущий в бездну бездарности - привела в кружок при газете "Ленинские искры", где /и самое ужасное, что любовно, заботливо/ учили на советских поэтов...

Уже в горьком литературном возрасте, пройдя сквозь многие ЛИТО и лета, безжалостно распнув посягнувших на библейское звание Учителя, разочаровавшись в алкоголизме как в степени свободы, допустимой, почти проповедуемой именно советским поэтоведением, проникла я в историческую тайну своего рождения... Узнала по самиздатской литературе, что точная дата его выпала на тридцатую

годовщину российской драмы, и самозабвенно затрепетала: уж не в меня ли вселилась душа убиенной цесаревны?.. И обвела в перекидном календаре ничем не отмеченное 17 июля траурной рамкой...

Но в том коммунальном послевоенном ребячестве, которому подсвистывал примус и подмигивали фольгой раскидаи, и колыхались, зазубриваясь средневековые замки огня в кафельной /вафельной/ печке, до прозрения заблуждений было еще далеко...

Иногда в нашу дверь без стука, зато с грохотом опрокидываемых стульев, врывалась полосатая крутая тельняшка с волосатыми человекообразными ручищами. Это сосед, вернее, почти-сосед, жених горластой тети Жени, жилички при кухне /это был на моей тогдашней памяти уже третий жених в отвратительном чаду котлет и капусты/ приходил требовать у отца взаймы на том основании, что тоже кровь проливал. Я его боялась, начинала вдруг зябнуть и заикаться, но самое невероятное, что отец, при всех своих разноцветных, как леденцы, орденских планках на пиджаке, кажется, тоже... Заслоняя от меня дурной пример /или меня - от темпераментного жениха/, виновато протягивал мятую зеленую трешницу. Видимо, точно зная, что не вернет, но зато и долго не вернется...

Виноватость эту легко было бы отнести к интеллигентности или, как теперь мы говорим, к закомплексованности, наконец, к национальной, печально-комичной, шолом-алейхемовской обреченности априори. Последнее как-то не вязалось, был он голубоглазым блондином, простоватым, и вообще долгое время слово "еврей" звучало для меня экзотически-зоосадно, вроде как "жираф". То есть, не имело к нам лично никакого отношения. До, разумеется, экзаменов в Университет... А во-вторых, нет, все-таки во-первых, для меня и тогда, и навсегда деликатное сострадание к миру, обычно принимаемое хамом за нерешительность, не вяжется с понятием "комплекс" от Фрейда и вплоть до Канта. - Наше поколение жадно училось "чему-нибудь и как-нибудь" в том возрасте, когда уже время подумать о Душе - легоньком холодке с прописной буквы... Об интеллигентности же в корневом, генеалогическом ответвлении или в профессиональном, говорить и вовсе сомнительно. Сын пекарихи, студент рабфака, отличник первого выпуска института советских экономистов. Дипломная его работа о становлении планового хозяйства в Туркмении /где на его подушке, у виска, - рассказывал - несколько раз ночевали ядовитые змеи/ была издана в твердом большевицком переплете, и на этом писательская деятельность отца прекратилась. Если не считать согретых бытовым юмором и ощутимым удовольствием от самого эпистолярного процесса /о, скрытая страсть к графомании!/ писем ко мне - во взаимных отлучках, а также старательных конспектов к политинформациям, уже на почте, на своей последней работе, где он, с тремя вузовскими дипломами, продавал в окошечко праздничные открытки... /Стоит ли, заглядывая вперед, удивляться, что я, экстерном, заочно, за три года постигая премудрости Универа, обрела в подвале почетный статус и покой кочегара... Такова, как говорил тщедушно-ответственный секретарь заводской газетки, путавший все нравственные понятия, газетки, куда меня по ошибке взяли, в нетрезвом виде шлепнув штамп в трудовую и не взглянув в паспорт, и откуда меня выгнали по совету КГБ за просочившиеся на Запад стихи и "белогвардейские тенденции в очерках", - "такова - как он говорил - конъюнктура судьбы"...

Об интеллигентности говорить странно /а не зная человека - и страшно, даже чудовищно/ еще и потому, что до 1954 года отец

работал в парковом Павловске, в учреждении, обозначенном отнюдь не безобидной отечественной аббревиатурой - МВД. Хотя и в самой, наверное, штатской должности, в плановом отделе. Я это помню потому, что иногда приезжала к нему с мамой в любимой ею и ненавистной мне фетровой шляпке с цветами, похожей на ядовито-розовую клумбу. Впрочем, визиты на папину службу прекратились, потому что однажды я его оскандалила, приняв протянутую незнакомым мундиром шоколадку за дощечку в фольге /меня так часто дразнил пьяный сосед, дядя Миша/ - и во всеуслышанье заявив: "Все вы врете, подавитесь своим подарком"... Вечером мама почему-то плакала, ночью родители шептались, утром отец - ощутила сквозь сон и упрямо мотнулась головой - погладил меня по волосам и вздохнул...

XX съезд партии едва не испортил наши доверительные отношения. Он, как у нас водится, лупил направо и налево /вот, видимо, как раз российский архетип отца родного/, без тогда недопонимаемой мною, как всеми плебеями, за слабинку принимаемой деликатности... Вскоре папиной работой уже можно было пугать детей как всякой вошедшей в моду абстракцией.

Я не хочу ни умалить значения исторического события, ни - тем более - Господи упаси - обелить ведомство, окружившее ум, честь и совесть России колючей проволокой, чтобы пародировала их в своих новоязовских лозунгах. У меня с ним, с ведомством этим, свои, семидесятые счеты... Но после детского лубочно-пасхального /а истина ли воскресла?/ ликования всей страны под новым правительственным иконостасом, во время затяжного культа безликости в моей голове зачирикали глупые вопросы. Почему народ и партия, единодушно объявляя каждый предыдущий кусок нашей истории ошибочным, являются друг другу безгрешными как сам Господь и святая дева Мария? Что это, святая наивность или, наоборот, отъявленный циничный разврат атеистического общества? /Думаю, что и нынешняя наша перестройка, - да разжмурьте же глаза, не потом, на прах, а сейчас, на живое, - очередная ступень карьеры лидеров нашей честности... Они и благословения испросят - на бизнес, и овощехранилища - наоборот - в моленные дома превратят, и приведут всю Россию к Исходу - во всесоюзную здравницу - солнечный Израиль... Ибо им все равно кому и чему молиться.../..Будучи капитаном по званию, членом КПСС отец никогда не был.

Его заявление осталось в гимнастерке парторга, погибшего в этом бою под Сталинградом. Переписывать не стал. Наверное, решил - не судьба ... Я тоже всегда была фаталисткой.

А тогда, после головокружительного выдоха из репродуктора, после пионерской встречи в "Ленинских искрах" с сыном легендарного Якира /Звонкие - мои - стихи - "Говорит нам о Якире, новый день благодаря, сын Якира, сын Сибири, внук и щепка Октября"/ - потом его опять посадят и он снова раскается - тогда у меня в глазах катастрофически потемнело от вывески над отцовской работой.

Воспитанная на подвиге /на подлости, понимаемой как подвиг/ - юного стукача и отцепредателя, увы, уже воспетого мною в тех же "Ленинских искрах", /детская душа особо воспламеняема - если бы ее можно было застеклить от рук всех фанатиков.../, со войственным мне детским жестоким романтизмом, не вовремя пришедшемся ко времени /отсюда же потом и слесарничанье, и Север, и кольца - всем подвыпившим ромео - на пальцы, - сколько же их было/ - что я тогда могла сотворить, кроме...

Нет, слава Богу, кляузничать ни на кого, в том числе, на родителей физиологически не могла, но и предательство смысла презирала... В общем, адресованное лично отцу вдохновенное письмо, заклеенное - и тут же порезалась - языком, было оставлено на столе, а его автор с неряшливо закрученными косичками /их до сих пор заплетала мама/ отбыл замаливать отцовские грехи на воюющую за освобождение Кубу. Со школьным портфелем, из которого без излишней сентиментальности и не без удовольствия были изъяты учебники, а на их место деловито засунуты соль, спички, три пачки "Беломора", фонарик и рекламный фотоальбом "Куба с нами", чтобы сориентироваться на незнакомом острове и сразу найти партизанский отряд по белозубой улыбке окруженной бородой /вот он, марксистский нимб снизу/ Фиделя Кастро.

Разумеется, мою пионерскую совесть, младшую сестру партийной, нисколько не беспокоил тот факт, что мама терпеливо нянчила мои любимые - по три-четыре в году - пневмонии, не работая благодаря отцовскому окладу. /Плебею свойственно презирать тех, чьими благами он пользуется, и это тоже отличает его от аристократа/. Не думала я, конечно, и о том, что родители убиваются, то есть - честнее - что я их убиваю. А когда иносказательно убивает поздний ребёнок - это уже почти буквально...

Кстати, нельзя сказать, что наши общественные организации воспитывали в детях только плохое, только социальный идиотизм; в их моральных кодексах были перечислены и некоторые свойства, действительно отличающие человека от обезьяны, если других - более существенных, но принятых на Веру - отличий не наблюдалось... Не было здесь разве что самого, по моему разумению, главного: светящегося, очищающего чувства вины. Не чужой, а собственной... Хорошо ещё, если оно просто входит в состав крови, как какие-нибудь невидимые слёзно-голубые тельца...

Водворённая домой в растрёпанном виде /к обоюдному счастью и родителей, и освободительного движения - милиционер задержал "зайца" - за ухо - в московском поезде и, таким образом, интернациональный патриотизм или, правильнее сказать, пионерский voluntarism потерпел поражение, подъезжая к Бологое/, так вот, отмывшись, оставив в покое мировые проблемы и наевшись оладушек, я, лёжа на своём диванчике за шкафом под тремя одеялами, вдруг стала вспоминать...

И вспомнила, что отец, раньше никогда не сидевший без дела - или пробки в коридоре чинил, мурлыча-фальшивя, стоя на табурете - или набойки наколачивал мне на туфли уже не с мотивом, а с гвоздём в зубах, вдруг перестал ездить в парковый Павловск, вообще ходить на работу. И даже запрыгивать на табурет с какой-нибудь своей любимой арией /чем больше обделён человек в музыке, тем более высокую музыку он предпочитает, на классике не ошибёшься/, в общем, и пробки чинить перестал, хотя свет в прихожей гас и потухал не реже обычного... Я вдруг увидела всё сразу: и навязшую в зубах кашу, и опустевший мамин платяной шкаф /где твои оперенья, погрузневшая наша красавица, впрочем, без них ты ещё лучше, потому что вкуса у тебя было ещё меньше, чем денег/, и как в кадре, в открывавшейся в прихожую двери, темнел отец у коммунального телефона, часами сидя на том весёлом табурете, на который больше не вспрыгивал... Теперь он изо дня в день звонил какому-то таинственному отделу кадров и каждый раз, вешая трубку, виновато бормотал: ну, на нет и суда нет...

О том, что беспартийного еврея, порядочного человека в тихих бухгалтерских нарукавниках, одним из первых вышибли из железной системы, чтобы отрапортовать о замене "сталинского аппарата" и о том, что натуральные злодеи бессмертны, их мимикрии может позавидовать любое пресмыкающееся, я догадаюсь ещё не скоро... Когда сама начну звонить и стопчу не одну пару отцовских набоек по отделам кадров: с единственным своим желанием - где-то работать и единственной фамильной драгоценностью - пятым пунктом в анкете, который как бриллиант, очевидно, даже боялись взять в руки - глаза инспекторов доходили до цифры "5" и пальцы рефлекторно отдёргивались...

Я так подробно останавливаюсь на детстве, копаюсь и купаюсь в нём, не потому, что полностью разделяю /хотя и люблю читать/ Фрейда, и вообще опираюсь на экзистенциальный психоанализ как на инструмент познания. Во всяком случае тому же Павлику Морозову /а себе - тем паче/ я не прописала бы Эдипов комплекс даже не потому, что не подозревала в ту собственно "героическую" пору ни о существовании Эдипа, ни об античной литературе. (Даже Цветаеву, в подражании которой сведущие люди упрекали меня в 14 лет, узнала в 19, - о, сизифовы труды нашего - ощупью - языкостроения на песке, под которым - прах многих цивилизаций...)

Мы просыпались под "Пионерскую зорьку", под оркестр кастрюль в коммунальных кухнях, просыпались медленно, годами, если не десятилетиями... Просыпались, чтобы открыть изумлённый - возмущённый - просто пристальный - и, наконец, "восхищенный и восхищённый" взгляд - на не до конца расхищенный мир...

Мы прошли путь от юношеского гнева до тёмной тоски с глубокой голубизной...

Но детство было омрачено социальной патологией, никогда не проходящей бесследно. Как война "красных" и "белых", в которой победили серые. Как любая метафизическая мясорубка, из которой ползёт реально кровавый исторический фарш.

Теперь-то мне ясно, что любая пропаганда возводит пороки в ранг достоинства, потому что она - как жанр - утилитарна, то есть, безнравственна. Собственно, это её жанровое право. Но наше право - заткнуть уши соловьиными плеерами от любой пропаганды. И заслонить глаза небом.

Из каких бы прекрасных побудительных толчков ни произрастала борьба - победа всегда ужасна. Победители безжалостны. Победители глумятся. Победителей судят. В России - посмертно...

Я не совсем вегетерьянка, и не совсем пацифистка. Хотя с детства теряла сознание от фламандских картин мясных и рыбных отделов. Это не добыча. Это освенцим. Травоядная корова, впрочем, внушает мне больше брезгливости, чем аристократически поджарый лев.

Ноющий,брюзжащий интеллектуал, густо произрастающий на бескровно-искусственной почве, в самом симпатичном случае: одуванчик на пустыре - дунешь - и нету...

У меня никогда не было единодушия не только с народом, не только ни с кем другим, но даже в собственной душе. Отсюда - разноголосица моего поэтического голоса.

Библия, Ницше, Гессе, Томас Манн, Мандельштам, Бродский...

Список можно продолжить, он стихийен, как самоинтервью "Что взять с собой на орбитальную станцию?" или - ближе к реальности - в Ноев Ковчег... /Господи, не давай мне там места, я этого не стою, лучше спаси мою рыжехвостую цапучую кошку.../

Несчастное сознание /гегелевский термин/, в котором кишат "Я" как черви в кипящей пионерлагерной кастрюле, всё ещё переваривает мировую культуру. Детерминированный идеализм, если так можно выразиться. "Дети полукультуры", как признался один из наиболее образованных ленинбургских поэтов. Дети наихристианнейших в мире атеистов - добавила бы я под чудодейственные, разливные православные колокола над иудеями, не знающими дороги в Синагогу...

1990. Ленинград

XXX

Что-то стала сниться вся жизнь, по сериям,
И почти что в каждом кадре - родители...
И не так уж важен распад империи,
Небо - вот что кажется удивительным!
„Не пора ли к нам?“ - слышу шепот в шорохе
Облаков и листьев - „Рискни, отчаливай...“
Ах, какие мы в благодати олухи,
И какое счастье - обрыв отчаянья...
Я уже спокойней камней отглаженных
Чередую волн. - Не киплю, не сетую.
Привести б в порядок дела бумажные:
То - в печаль высокую,
то - в офсетную...
И не то чтоб всё, хоть вчерне, окончено,
Но ложусь пораньше, и руки - наголо...
И растёт, и ширится купол сводчатый:
Рафаэля лоджии? Шелест Ангела?...
И восторг, и восторг, и восторг...

2000.

XXX

Воскресни! Взгляни, что творится,
Какая - в наследство - Земля...
С могильщиком договориться,
О горестных метрах моля.
Что этому дельному парню
Эпохи наличных валют,
Что золотом - вечная память
Тебе, не погибшему тут...
Уснул на потёртом диване –
Вернулся, считай, в колыбель
...На Пулковском меридиане
Отныне - моя параллель.
Сын века с повадками скифа
Кряхтит, не скрывая ленцы...

Последние авторы мифа

Уходят, -

 прощайте, отцы!

Себе бы и горсть не просила

Земли, над которой стою.

Твой вечный защитник, - РОССИЯ,

За взятку

 лежит

 на краю...

-2-

Надмиралтейство...

 Высота...

И сельский говор /видно, вечен/

Откуда здесь?

Так человечен,

Что подступает неспроста

У колыбелей и могил

Всегда оказываясь рядом,

Священнодействуя обрядом

За нас, где сами не смогли.

Как те - ромашками вдали -

Старушки в чистеньких платочках,

Что как под музыку хлопочут

На склоне жизни и земли.

И чем бы ни был в жизни ты

Озвучен сгорбленно и устно,

С последней этой высоты

Она до стона бузыкусна.

Лишь одинаковость столбцов

И детских ванночек под ними.

И кто, споткнувшись, не поднимет

Незащищённое лицо ...

1980.

xxx

Зачем ты, зеркало, мне мамино лицо
Являешь холодно, с подробным подбородком...
Ужели так и замыкается кольцо:
Еще вздохнешь - и ты уже за поворотом...
Вот этой складки не заметила вчера,
Зато сегодня - так отчетливо и резко...
Дрожат, пульсируют, как жилки, вечера,
И так пронзительно сияет занавеска,
Что слезы копятся... Висит на волоске
Одна...

Окликнули - и кажется: воскресла -
с последней нежностью, не видимой никем,
погладить ручку покачнувшегося кресла....

1997

xxx

Кладбищенский Ангел мне дверь отворил,
Велел подождать за оградой...
Родители вышли, касаясь перил
невидимых, вея прохладой...
Дыханье - как взрыв у высоких ворот
в незримом присутствии Лика...
Ну что вам сказать? Продолжается род,
и нежно цветёт земляника...
И совестно вымолвить что-то ещё
на этом наречии бедном...
И сходит заря, как румянец - со щёк,
и небо становится бледным...
И с места - не сдвинуться, будто нога
вросла... Онемевшие чресла...
И женщина в чёрном торопит, строга...
А женщина в белом - исчезла...

1997

«ДЕРЕВЬЯ НИКУДА НЕ УЛЕТАЮТ»

xxx

Не сходишь - соскользнешь с ума.

В висках промозглый звон бидона.

О, ёмкость жизни из бетона -

Две серых тверди и дома!

Металла иниевый бред,

Никелированная Невка.

О, всколыхнись хоть однодневка -

Дымок, дыханием согрет.

Жизнь леденеет на лету,

Черна мембрана как гангрена,

И ствол без шелеста и крена

Не почву пьёт, а высоту

Поддерживает. Голый сад

Инопланетно конструктивен,

Проявлен, влажно негативен,

А после - зелени плясать

Без памяти - зарос погост

И безнадежно - до упаду.

И в мерзлый грунт вгрызаться лопату,

И ждать: случится абрикос...

О, кто с природою на "ты",

Кто к ней отважился в товарки...

И как жарки, хотя не жарки

Вдали, в лесах, - электросварки

Мгновенно синие цветы...

1978

xxx

О, тень моя - панельная сестра,
Набросившая ночь, как чернобурку...
Так призраки Апраксина двора
Крадутся, озираясь, к Ленинбургу..

Где скверики накрыты для гостей
Осенним винегретом георгинов
И опят, а не чернеют от страстей
В игрушечный коробках героини;
Откуда все магнитнее манят
Подковы роковые подворотен...
И памятник разрушивший маньяк
Талантливей создателя пародий.
Спасите, хоть больница и тюрьма -
Мне хочется и плакать и смеяться,
Но светятся безликие дома,
Рядком, как диетические яйца.
Не много ли нам времени дано,
Чтоб заполночь, от сытости и скуки,
Созвездьями бренчали в домино
Для клавиш предназначенные руки!
О, если бы Господь не удержал
На грани, где с теньми ночевала,
Уж лучше ослепительный кинжал -
Болезнь неизлечимо лучевая...
Коленкой подмигнет кордебалет
С афиши вседозволенности нашей,
Где плакал князю Мышкину в жилет
Раскольников, старуху доканавший.

1977

xxx

Подымается жизнь и по лестнице Гаршина,
Шелестя и мелькая в пролетах плащами...
Смрад котлет и капусты.
Котами загажены

И расписаны пьяницами площадки...
Огибая провал, продолжается лестница...
Смотрят в окна и щели соседки и звезды...
Силуэты ветвятся...

Доверчиво светятся

Пальцы, переплетенные в первые гнезда...
И веселье звонков, и табличек сияние
(На материи мира — сияют заплаты...),
Лишь фамилии проще да редкостней звания:
Новый титул — «Отличник уплаты квартплаты»...
Продолжается лестница

звонкими маршами,

Словно жизни талантов —
законное пени...

И не горше, чем всюду, на лестнице Гаршина
При подъеме и спуске

вздыхают

ступени...

И зловещая бабушка, горбясь и охая,
Словно Клио с клюкой — к поколению в джинсах
Семенит...

Пусть не с Гаршинской, — всё же с Гороховой.

Остальные — с Дзержинской...

1974

РАБОЧИЙ

Господи, как он счастлив - страшно смотреть..

Он озабочен, Господи, как ты в неделю творенья..

Хоть бы в тебя он веровал, Господи... Только в смерть.

И, не поверишь Господи, - в энтузиазм горенья..

Пресс, нарастая, лязгает...

/Господи, пронеси.../

Пальцев ещё осталось на выборы и на розлив...

Он интервью даёт мне /Дай ему небеси.../,
Произнося "ударник" - будто "артист народный".
Как он сияет, Господи,- в десятидневный рай
Едет за достижения в грохоте преисподней.
Господи, где штампуют этих, что "умирай"-
Скажешь - лишь переспросят: завтра или сегодня?..
Пресс, нарастая, лязгает,
Ляжет ведь по звонку!
Вогнутая грудная,

Мясо...
"Видней начальству"...

Господи, дай мне камень - в его башку! -
Он же меня зарежет, БЕЗУМНО счастлив...

1976

xxx

Набело!-
Не прорастают следов
жухлые листья -
 мерцание Стикса...
 Чьё-то окошко форельной
слюдой
в проруби
 остро
 мелькнет...
Стоит ли так уж грустить о бесследности жизни?
 Ну, заметёт - заодно и простится.
Наново!
 Слепнет блокнот!

Надо же,

чтобы такой снегопад

на плечи за полночь!

Ангельской сказкой,

светом бесшумным, хлопушками капсюль

...Как в невесомости, - не раскопать

В сдвоенном

сдвиге

условности.

Сон и полёт-

ваша высшая степень - зима!

Детским комочком в светящийся шар

заблудиться...

Косточкой сквозь виноградный скафандр

проглядится

вся твоя жизнь, как в трамвайном стекле -

терема,

а за ними - дома:

недокрытые

белые

П

ТИЦ

Ы.

В

стикс

ы!-

Карповки,

Невки,

Фонтанки,-

Вагоно-вожатый

бубнит

заклинателем

змей.

Только метель то
развёрнута в блеске -

то сжата

оконной каймой.

Выкатись где-нибудь.

гу

БЫ заклеит зимой...

В снежную бабу - два

скатанных "О" -
О, онемей!

1976

xxx

Горисполком и Господи, помилуй
Архитектуру Северной Пальмиры!

Печально поучителен финал

Столицы бывшей:

 столь провинциальны
Навстречу лица в бликах Тициана
И после Петропавловки - пенал,
Что хоть бери подмышку раскладушку
И умоляй музейную старушку
Пустить – ну, что ей стоит - до утра.
Темно. Зато набухшие от влаги
Семейные сиреневые флаги
Не плещутся над вотчиной Петра.
Не колет "ёрш" фольклора и жаргона -
Попытка подмастерья-эпигона
Пристроиться к народу у ларька...
Не видеть парикмахерских красавцев,
В часы пике щеками не касаться
Чужих щетин - и жизнь не так горька,
Скорей смешна, - в коробках и скорлупках.
Кариатид в упитанных голубках
Ваяет взгляд, а мнение плеча
Сдано в архив под вывеской "химчистка",

Где объяснит приемщица речисто,
Что и на солнце пятна - сгоряча...
И чувства локтя, юмора и долга
Опять согреют в транспорте надолго:
Маршрут судьбы - из дома на завод.

И что с того, что все иные чувства

Ушли от нас в историю искусства,

И упорхнул эол в газопровод

И что с того, что неисповедимы

Пути туда, откуда поглядим мы

На интернатски бритые дома

Без умиления, но и без упрёка,
Смирняя спесь наследников барокко
До жалкой грусти: голод задарма...

Дням безымянным - в зодчестве спасенье.
 Воистину случится воскресенье
 В неделю раз, и в жизни - иногда...
 И что-то снова строится не сразу
 /С чего бы вдруг/ в торжественную фразу
 И дождь в лицо - шампанское со льда!..

1977

xxx

Вечер, окна...

Привычной и проще

Не представишь...

Но этот же блеск -

Урбанизм апельсиновой рощи,

На холсте возведенной в гротеск;

Вертикально повернутый берег

В снежных оползнях -

вместо жилья.

Отчужденно оранжевый Рерих?

Золотая ухмылка жулья?

Нам достались такие виденья

Или: виденье цвета

в беде...

Парниковую пленку наденешь,

До пупырышек стоя в дожде.

И услышишь на месте свиданья

Дома с домом - тепла и тепла,

Как звенит холодок

мироздания

На латунных

ладонях

стекла...

1976

xxx

Ампир вампира - путь в аэропорт,
Вся эта пышность, твердая, как торт
На выставке - бесвкусица для чести.
И тот поспешно обжитый макет,
Где телеграфных столбиков крокет
Широк луне, как лестница - невесте ;
И даже Гавань - дышится свежей,
Но белой ниткой парус этажей
Пришит на стыке пропасти с простором...
Все то, чему не триста и не сто,
Увы, - не то, типичное не то:
Нагородили, думая — построим...
Как хорошо, что в наши города
Еще заходят небо и вода -
Чужие и бессмертные творенья...
Как озаренья,
как фамильный Дух.
Как ветер крови сталкивает двух
В неблагодарный подвиг повторенья...
1969

xxx

Как черный груздь, роскошен черный
Фужер /изысканная грусть/...

Но цвета скатерти почетной -

Настой на пошлости.

Берусь

За ножку, вывихнув мизинец

...Пардон, изящные века,

Что след наш порист и резинист,

В салоне - след грузовика...

Увы, на ветхом матерьяле

Не улетишь на край земли:

Мы тягу к почве потеряли,

А крыльев - нет, не обрели.

Ни барской лени,

ни свободы,

Ни потной пахоты крестьян...

Мурлычь по случаю субботы

С пластинки, Черный Себастьян...

1976

С черного хода -
в молодость ливня!

Ломанность линий -
коленей, локтей —
ливневая!

Сникло.

Зонтик японской системы,
увы, не для нашей нервной -
дергаешь,дергаешь...
/нам бы — кольцо парашюта.../
Город опять наводнили летучие мыши,
шум перепончатых крыльев...
Весна или осень?

/"Крылья свободных ассоциаций"
Индивидуальный пошив,
Показ моделей"/.

А кто-то другой, тоже внутренний,
с черного хода,
приказывает стоять на своем,
как Венера с отбитым носом
на пьедестале.

1977

В большом и малом -
 Стеклянных птиц прощальный круг.
 В какие пропасти летим мы-
 На чей-то пристальный зрачок?
 И темнота неотвратима,
 И в спину - вещий сквознячок...
 Бледнеют немощные всплески,
 Коряв обугленный рояль,
 Но страшно встать и жестом резким
 Спугнуть озвученную даль. -
 Как будто музыка продлится,
 Пока не втянуты волной.
 Сомнамбулические лица
 Старушек в тверди кружевной...

1977

ПО ТУ И ЭТУ СТОРОНУ

/пять стихотворений/

Смерть не страшна работникам разлук,
 Чей первый крик рассыпался на шепот.

Гробовщики накапывают опыт,

Все погружаясь...

До колен...До рук....

.До черенка...

До сердца...

Дотемна....

Попробуй тут по-черному не спиться...

Им каждый день зияет глубина

Шекспировская — в буднях репетиций...

Сверкают мышцы...

Выпуклый мажор

В их слаженности, сыгранно суровой.

Но горе тем, кто близко подошел
 Как под гипнозом
 к яме оркестровой...

2,

Сиротски сгорбленная шаль
 И годовые кольца шеи...
 Кого обманываем, — жаль
 Самих себя, а не ушедших.
 Вот - не сестра. Вот - не жена.
 Потеря должности - и смысла...
 Бесстыдно жизнь обнажена
 Где черным крепом
 ночь нависла.

3,

... И задохнуться нежностью густой,
 Тупой, как боль...
 /Уж лучше б — острым клином/
 Как летний полдень,
 плавленный, пустой
 Сухим бесплотным
 пухом
 тополиным.
 Так суждено...
 /А слышать — только "но"/
 Фонетика, зачем ты мне послушна!
 Щекой бы в грудь!
 "Солдатиком" в окно!
 Ничком в подушку. Господи, как душно...
 Как будто мышцы — тот же вязкий пух...
 Удара!
 Звона!
 Брякнуться об камень!
 Но что-то обволакивает слух...

...Как страшно становиться облаками...

Теперь я понимаю, почему

Ее рисуют в белом, а не в крепе,

В тумане, а не в пепельном дыму ...

В нем горечь есть.

Что может быть нелепей,

Чем так...

В нем запах, привкус, что знаком,

Хотя бы тень разбавленного цвета...

Так ширпотребный кофе с молоком

Уже не то.

Но только бы не это!

В костер печной!

Дотла в песок речной!

Не может быть, чтоб нами правил случай

В последней мысли,

в памяти ночной...

Сверкнуть звездой, разбившейся в падучей,

Вломиться ночью...

Спутанная прядь...

Где жизнь своя, а где — уже чужая?

На волоске...

А где -не разобрать.

Потом лежать, одежду остужая.

4

Удальцы-молодцы...

Как звенят

на зубах

огурцы!

Белозубый прихруст

отдается морозом по коже...

По ночам, храбрецы,
 не щекочут ли вас
 мертвецы?
 Переспросят: "Чего?"
 /Огрубели босые подошвы/.
 Ужаснись красоте
 этих смуглых и правильных спин
 с полотна реалиста :
 страда. Перекур землекопов...
 ...Здесь такая трава...
 Даже слышно, как девочка спит,
 как сопит за оградкой,
 вселенную за день протопав...
 Кто она и куда?
 И кому-то вопросы готовь,
 на которые нет
 за чертою зеленой
 ответа.
 Здесь под каждым крестом
 похоронена чья-то любовь.
 И замкнулась венком
 родословная
 мертвая
 ветка.

5.

По ту и эту сторону ограды
 Ржавеет лист:
 На ветке и на нитке...
 Но приглядишь:
 ромашки - в беспорядке.
 На аккуратной грядке — маргаритки.
 Здесь - воробьи, а там — уже ворона...
 Но бросишь горсть — и хлынут просто птицы.
 Все сторожа похожи на Харона.
 ... И замереть,

1980

4.ГОРОДСКИЕ ПОЭМЫ

Снегопад

Как рано стали улицы пустеть...
Когда ещё светлым-светло от снега...
Когда ещё не ловят звёзды с неба
Ни молодой, успевший полысеть
Поэт, ни увядающий любовник,
Который чуть моложе, чем поэт...
Ещё автобус, алый, как шиповник,
Шипит в снегу, а на зелёный свет
Лишь снег идёт...

А люди не идут.
(Не мамонты - чтоб вовсе не осталось...)
И я не знаю, лень или усталость
Толкают в кресла, на диван кладут
Тех, что с работы ринулись галопом
(О табуны! О здания, держись!...).
...Теперь они сидят с телециклопом
И в шахматы проигрывают жизнь.
А снег идёт...

И пусть себе идёт,
Поскольку он не первый - не последний,
Ромашек предок, тополя наследник,
А может быть - как раз наоборот, -
Не это важно...

Ну а что же важно?
Что рано наши улицы пусты...
На них переминаются отважно
Огни и милицейские посты,
А снег идёт по улице пустой...

*

...Навязчивей, чем просто наважденья,
Плечом к плечу сомкнулись учрежденья
И каменно молчат...

И ты постой,
Наивный снег, отвыкший от народа,
Светящийся, как памяти пунктир...
Нормальное явление природы,

Постой у врат в нормированный мир!
 Там воздух неестественен и сер,
 Вещам и людям выдаются бирки,
 И в комнатах, прозрачных, как пробирки,
 Так призрачно мерцают ИТР,
 Что, кажется, слоняюсь по музею,
 Когда, склоняюсь над письменным столом,
 Я прохожу сквозь стены и глазаю
 На голубых простейших под стеклом.
 Они идут... Куда они идут?
 Вернее, выются, тужатся и тщатся,
 А снег идёт. Но хватит возмущаться
 Их жизнью одноклеточной. И тут
 Идут часы, события бывают:
 Разводы, свадьбы, - маленький, но факт...
 Дают „прогресс“... Начальник вызывает
 (Не на дуэль. Дай Бог, не на инфаркт...)
 А снег идёт...

Берёзы клавесин
 Звенит в саду, который всюду рядом...
 Но эти люди расщепляют атом,
 А ты, признаться, только апельсин...
 А ты сама как скрепки нижешь строфы,
 Надеясь, неосознанно почти,
 И на пути к любви своей Голгофу
 И на пути к Парнасу обойти...
 И, повздыхав, что в мире мало света,
 В слепой подушке ищешь тишины...
 ...Не остряки, но острые поэты
 И чистый снег отечеству нужны.
 А снег идёт. Идёт совсем один.
 Кому повем печаль твою, о, Снеже!..
 И для кого так светел ты?

И с кем же
 Склониться над мозаикою льдин?

*

Чего мы ждём от зябнущего мира
 В ночном сиротстве с ним наедине?
 Несовершенна личность, а не лира,
 Не мир, а миф о собственной цене.
 И даже самый вздох о благородстве -
 Он слишком сладок около восьми...
 В своём сиротстве и в своём юродстве
 Мы виноваты сами, чёрт возьми!
 Вот снег идёт...

Идёт рабочий стаж...
 Идёт зарплата. Иногда - работа.
 И о расплате думать неохота,
 Стремительно взлетая на этаж
 И снег идёт пока не на виски...
 И не были б желания простыми,
 Но рано стали улицы пустыми...

И проводов седые волоски
 О материнских мне напоминают
 Кощунственно, но вовремя зато:
 Пока ещё идет она, родная,
 В моём снегу и в стареньком пальто...
 И снег идёт...

А ты уходишь в снег ...
 Один из всех. Единственный - внезапно.
 Ты ждал меня, а я смеялась: „Завтра!“
 А снег идёт...

И ты уходишь с ней...
 А я прижму - насмешница, гордячка -
 К твоей груди надменное чело...
 Наверно, это белая горячка
 От снега и не знаю отчего..

А снег идёт, и улицы пустеют...

1976.

ВМЕСТО СТАТЬИ...

А.Кушнеру

Большие люди - маленького роста...
 И трудно жить, и затеряться просто
 В очередях за пивом и луной...
 Пока над пеной моря или кружек
 Они себя в толпе не обнаружат
 И в свет не выйдут, шумный и дневной...

И улыбаясь встречному, и ёжась,
 Свою на всех сыновнюю похожесть
 Поэт не прячет фиговым листком,
 А тянет горечь общую и ляжку
 И в жизнь входя (и выходя за рамку...),
 Всегда отринут ею и влеком.

Приходит он. Садится робко с краю,
 (С трудом и это место выбираю)
 Всегда смущённо комкающий в горсть
 Не снег - так скатерть.

В том его отличие,
 Что он, приняв хозяина обличье,
 Забыть не может, что всего лишь - гость...

Всегда желанный, и всегда - некстати,
 Во фраке - в свете, в сумерках - в халате,
 (футляр - какой предложат времена)
 Он ест и пьёт, вставляет мысль в беседу,
 Икнёт сосед - сочувствует соседу,
 И шепчет муз простые имена...

А между тем, курносенькие музы,
Его не с вами связывают узы -
Неотвратим осенний перелёт...
И шелестят, как лебеди, страницы,
И над подбитой больно распрямиться,
И угодить приятно в переплёт...

Поэт, уже стесненный переплетом...-
Теперь совсем без отчества живет он -
Отечества побочные сыны!
И негром должен быть он по идее
Или хотя бы просто иудеем,
Чтобы взглянуть чуть-чуть со стороны...

Лишь отстранясь, увидишь многогранность,
И граней блеск, и внешнюю сохранность,
И разветвлённых трещин черноту.

Но сам, не раз порезавшись, ни разу
Не променяешь, вслушиваясь в разум,
Ты эту чашу горечи на ту...

В сухих губах поэта и еврея
Дворняжья жажда родины острее -
Не малосольным пахнет огурцом,
А солью слёз и пота вперемешку...
(Вглядись, читатель, в грустную усмешку
Меж двух штрихов, намеченным резцом...)

Меж двух огней, меж тысячи сомнений,
Веков и дней, погромов и гонений,
Дрожащей сигареткою дымя,
Вдвойне богат и беден он при этом,
(И не опасны крайности поэтам,
Родившимся под звездами двумя...)

Поэт стоит на бруствере окопа
И пьёт настой смороды и укропа,
Доверчивостью утренней лучась...
А у виска свистят шмели и пули
Со всех сторон...

И в солнечном июле,
И в феврале, который через час... -

Кто знает, сколько времени осталось
Поэту, погруженному в усталость -
С младенчества поручено пасти
Ему отары звёзд на склоне неба,
Да и стиха - когда названья нету,
Да и бутылки... (Господи, прости...)

Днём к чёрту шлёт, а ночью ищет Бога,
 То веря вдруг во всех, которых много,
 То - вовсе нет... (Еще или уже?)
 И сам пугаясь собственных гипотез,
 Живёт, о бренном суетно заботясь,
 Но и - на всякий случай - о Душе...

И пусть поэта дёгтем кормят с ложки,
 И в 23 копейки на обложке
 Оценена открытая душа,
 Приучен он довольствоваться малым:
 Чужой солонкой... Ласточкой... Бокалом...
 Звонком - вздохом, и словом - не спеша...

И плащик есть... Но - Господи - плащи-то -
 Такая ненадёжная защита
 От морозящей грусти сентября...
 И зябнет радость ПЕРВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
 В НОЧНОМ ДОЗОРЕ смутности осенней,
 Дыханьем тёплым воздух серебра...

Куда идти? Ещё не знает сам он,
 Весь - в мимолётных искорках лавсана,
 Помимо бед мирских принявший сан
 Святейшего из грешников - Поэта...
 Во исполнение лунного обета
 Идет поэт в далекий горд Санкът...

(Зарывшись ночью в жёлтые страницы,
 Так переходит времени границы
 Душа - к Душе - подросшею сестрой...
 Не потому, что лучше там (О, Боже...),
 А просто близких родственников больше,
 По крайней мере, кажется порой...)

Судьба и подвиг (не медальки ради) -
 С пером в перстах родиться в Ленинграде.
 И счастье...

Блещет строгая вода...
 (В награду нам за пешие привычки
 Со дна „Невы“, закованной в кавычки,
 Всплывешь ли ты, „Полярная звезда“?..)

И глух гранит, но сердце бьётся сладко -
 Не крылья пусть, но всё-таки крылатка
 Растёт...

И с невским ветром заодно
 Легко дышать... И думается просто
 На сквозняках, где выгорели ростры,
 А солнце в лето кануло давно.

Иного нет пристанища.
 Природа?

Там без тебя достаточно народа
 Тень городов наводит на плетень...
 И всё равно увидишь почему-то
 Листвы цыплячьей ветреную смуту
 И ястреба распластанную тень...

Фантастика? Для прозы - тривиально,
 А для поэта - вовсе нереально,
 Да и настигнет время беглеца...
 ...И аморальна в чём-то мудрость басен:
 Глагол - он жжёт и шёпотом, и басом,
 Но только лишь от первого лица...

И фейерверк метафор - не спасенье:
 Ещё видней в хаосе дождь осенний -
 Сквозь звёздный снег и солнечную рожь...
 И не спасенье, если всё прогоркло,
 Что не тоска тебя берёт за горло,
 А ты её за горлышко берешь...

И есть о чём сказать, но как-то нечем...
 И боль саднит и колет под предплечьем,
 Как будто сердцем Бог не начинил...
 И ,наконец, уже вконец измучит
 Век изобилья шариковых ручек
 И дефицита внутренних чернил...

Пусть говорят, что кто-то пишет кровью,
 Доверья больше к тем, кто, сдвинув брови,
 Глядит в окно, и в книгу, и в глаза,
 Не очерняя, и не обеляя
 Ни жёлтый свет, ни сырость - штабелями.
 И не возводит образ в Образа...

Большой поэт, когда ему под сорок,
 К ПРИМЕТАМ жизни пристален и зорек,
 Устав от всех Сицилий и Харибд...
 Чем он мудрей, тем больше он ребёнок,
 Светлеет взгляд, и чистый голос тонок:
 Его устами Муза говорит:

„Прекрасна жизнь...“

Но это так пристрастно...

А если жизнь, действительно, прекрасна?
 Топлённый снег... Творожная зима...
 Вкус бытия, молочный, как вначале,
 Когда прозрели губы...

До печали -

До голубой трагедии ПИСЬМА...

Уходит грусть в безадресном конверте...
 Возьмите в руки, на слово поверьте.
 Поэта грусть - и всем, и никому.

И так прекрасен риск её и абрис.
И на конверте есть обратный адрес...
Побродит и воротится к нему.

И до подхода рая или ада
Живет он с ней в пределах Ленинграда.
Аэрофлота ангелы...
Метро...
В нем всё уже при этом свете наго,
И щит поэта - вещая бумага,
А меч поэта - певчее перо.

P.S. „Первые впечатления“, „В ночном дозоре“, „Приметы“, „Письмо“ - названия книг
А.Кушнера. В те же годы А.Кушнер написал стихотворение „Вместо статьи о Вяземском“ .
Отсюда - название поэмы... 1974

Дом

Обломанность /задоринок, сучков/?
Обломовская склонность к постоянству
Удобной позы - пусть летают мысли,
А сами лёжа зла не сотворим?

Но рифма разжижается...
Но ритм
Не может - лёжа...
Заедает проза,
Как говорят поэты, заедая
Кулинарией светлый алкоголь.

...Итак, пейзаж с паршивую овчинку - с окно.
Газона стёртое сукно. Противувзглядный
параллелепипед, а на газоне - пара лилипутов,
которым всё пока разрешено. /И главное, что
хочется, и даже обидно, что запрета не дано/.
А рифма-то откуда?! Всё равно...
Ни даром не хочу, ни на продажу.

Всё надоело - нет же, надо есть
Пресыщенным, не в меру раздобревшим
И благодарным взглядом, да и лесть
Нет-нет, а подливать, стремясь - пореже.
Стремясь - спустись, стремяночка, с небес,-
К другим ландшафтам, к звёздным брудершафтам,
Да и к земным.../“Того?”
Ну что ж, не без
Того, как не без тела и душа-то.../

Ах, эти скобки...Ладно б - на двери
 Да на бумаге... Дышим через скобки
 Железные. Попробуй, отвори...
 Не пробую, хотя и не из робких.
 А пробую /уже в который раз/
 Противувзглядный дом /уже на крепость/...
 Не может быть, чтоб я любила вас,
 Столбы, газон, и прочая нелепость.
 Вы мне даны по ордеру, в окно
 Вошли, как входят шайбами консервы
 В наборы с кофе; как входили, но
 Дороже стал.

Тем более, не сетуй,
 А торжествуй: лишь тот, кто одержим
 Останется от гущи претендентов -
 И суррогат, и чаевой режим
 Утешат прочих.

А тебя?

Да тем-то
 И маюсь, и июнюсь, и ... Пока
 Довольно /слава Богу, что не больше/.
 А там, за крышей, - тоже облака,
 А их не видно...

Господи, не болью ж
 Всегда, как той злодейкой - алкаши!..
 Она же тоже может притупиться,
 И доконать, и кто-то - „согреши“
 Подскажет сердцу как первоубийце:
 В утиль её! В прохожего! В царя!
 В царя... В царя... О, магия последних,
 Случайных слов... Пропасть - так хоть не зря...
 /Но мысль - потом. И кара. И наследник.../
 В царя, в царя...

Но где ж его возьмёшь...
 Перевелись достойные кинжала...
 А пачкать сталь чиновничьей возней,
 Лакейской кровью - лучше книгу жалоб...
 Нашли язык, чтоб смерть не оголять,
 Чтоб им не вешать нас, а нам - вериги:
 Одни плывут как пена в „жигулях“ -
 Другие пишут жалобные книги...
 Поэты с царедворцами: Ату -
 Ау... Совместный аут... Странно...
 Сближали кубки Цезарь и Катулл -
 И сталкивались мужество тирана
 Завидовать свободе соловья:
 Что не прикован к должности отцовой,
 Что может плакать или целовать
 Открыто - хоть на площади дворцовой,
 /“Гай“, - посвист ветра, - „гей!..“

и сам шалел/

А тот в ответ не каялся - скандалил,
 И эпиграммой жалил, и жалел

Диктатора в мальчишеских сандалях.
 Титаны пьют... Советники сопят
 И ждут развязки острого сюжета...
 Чем козни - казнь! И в этом враг - собрат.
 Политик, но какой размах! - поэта...
 Расшатан трон - зато надёжен стул.
 И внятна Смерть, как в юности когда-то.
 Но для себя искал её Катулл,
 А Цезарь...

Цезарь всё-таки диктатор..
 Титаны пьют...

Вдвоём, на равных, без
 Подобострастья или панибратства.
 Каприз тирана, слабость, интерес
 Понятен, если трезво разобраться:
 Любовь к любви - уже не плоть, но дух
 Республики и Юности...

Как близки! -
 Сплелось, слилось, - нельзя одно из двух...
 Но можно всё и всех - под обелиски.
 Не экономить мрамора и слёз,
 Из пушки - фейерверком - по воронам!
 ...Как сушит горло пыль из-под колёс
 Истории за дерзким поворотом.
 И что ты значишь, свой микрорайон,
 Когда страна - провинция Вселенной...
 Микрострадаем и микропоём
 Мы, выкресты двадцатого колена.
 Какая боль пронзит и прошибёт,
 Когда столетья вспрыснуты под кожу?
 Ветвь по глазам.

Заброшенный швербот.
 И нерв зубной.

И силуэт похожий...

2.

Какая боль гнездится у виска,
 Бурит железным клювиком подкорку?
 Чего искать? Забытую подколку?
 Свободны завихренья завитка...
 Чего ещё, прожорливый птенец?
 /Как червячка заморишь и удава.../
 Ветвистых трещин каменных тенет
 От шаровой сердечного удара?
 Чего искать:

противувзглядный дом
 Туристу не скучнее Эрмитажа,
 А Эрмитаж - поставь на место том -
 По истеченью близостного стажа
 /Восторга узнавания, столбняка
 Открытия/ - заблудится в газонах...
 Екатерине - дай истопника,
 А космонавту - кубиков озонных.

Столь очевиден этот механизм,
 Что грустно даже - тайны не осталось...
 Ну, затянись, ну, даже усмехнись -
 А ведь придёшь и свалишь на усталость...
 А кто тебя от бездны заслонил?
 Давно б нога скользнула по карнизу...
 Легко топиться в космосе чернил,
 Который светом истины пронизан,
 А ты попробуй в жизни...

Ты рискни
 Без капельки надежды на спасенье.
 Икар ведь не пристёгивал ремни,
 Христос не уповал на воскресенье!
 Не так поймут?

Какая трын-трава...
 /Как и сейчас, не больше - и не меньше./
 Что б ни плели - а смерть навек права,
 Урок, упрёк. Но - глухоонемевших...
 Переходи в легенду - путь открыт:
 Зажглась луна, зелёная до жути...
 ...Старухи остаются у корыт
 И больше со стихиями не шутят?
 Не торопитесь...

Вертится она!
 Что смерть - и жизнь её не погасила -
 Есть и по эту сторону окна
 Какая-то отчаянная сила.
 Закрыв глаза на бездну виз а ви,
 предав слова огню, но не огласке,
 Смотри, как ладят с ересью любви
 Иезуитски пламенные ласки...
 В католики?

В буколики?

В букет

Тех, праздных /ярко выражена серость.../
 Под окнами?

За горечью - в буфет?
 В буклет - за сладким?

Электрооседлость
 На стуле -
 как двуспальный паралич!
 Ах, личность века - синенькая кура...
 Ах, Синекура...

Что ж, Илья Ильич -
 Не самая ничтожная фигура...

3.

В сафьяне - Фет.

На скатерти - графин.
 На окнах - шторы.

На глазах - ресницы.
 На всякий случай - дверь...

Себя, как финт,

Не выбросишь на чёрную страницу -
 Споткнёшься, усмехнёшься и зевнёшь:
 Лень-матушка...

/А батюшка - пропащий.../

Как проповедь спасительная ложь,
 Ты исповеди грешника образчик.
 Обрящет ли на паперти душа?-
 На памяти?

Выскальзывает мрамор...

А милый рай в треухе шалаша -
 Не Оклахома ль? - спрашивает Крамер
 Через границу.

...Где она, Господь?

Для визитёров -

там же, где таможня.

Для постояльцев -

даже дух и плоть

Нерасторжимы на - „нельзя“ и „можно“,
 Как горизонт - на „небо“ и „земля“...
 Не существует ощупью границы.
 Экран и зал...

Петелька и петля...

И от своих страниц не отстраниться,
 И от страны.

И тряпкой от окна.

Рукой - от солнца.

Дамбой - от меленья.

И где рубеж безоблачного сна
 И переход в иные измерения?

4.

Сначала вышьем парк, английский.

Нет!

Легко чертить, смотреть - как на штангиста
 в нормальном весе; не патологичен,
 как, скажем, Дом Советов - слиток мышц,
 подогнанность под статую, но - в сквере,
 но - симметричен / бицепсов игру
 угадывай, как рифмы графомана.../,
 как будто сердца - два; а для души
 и вовсе нет простора - безвоздушна
 стыковка мышц.

Посмеет ли язык

гармонией назвать элементарность...

Итак, сначала парк. По-итальянски.

В абсурдном стиле.

/Пусть газоновед,

за-носо-вод не говорит „во вкусе“ -
 не в итальянском вкусе, а в своём,
 как и в своём уме, и в стиле тоже -
 свободный стиль заплыва в невесомость
 ночную.../

Шелестел по-итальянски -

Осуществлён как вольный перевод.

Ажурный мостик. Навесная ива.
 Беседка - для бесед без лишних слов,
 а лишь необходимыми - такими,
 как только те, что смысла лишены
 житейского - исполнены иного.
 Итак, беседка в духе рококо.
 /“Ко-ко“ не надо - пусть несутся дальше.../
 Капризен вкус любивших созерцать:
 вегетарьянство взгляда есть естетство.
 Беседка же - условный переплёт,
 шкатулка из поющей целлюлозы,
 Изящество Парижа и Шопена
 в архитектуре с лёгким сквознячком...

Как будто всё...

Осталось - гладью пруд,
 и крестиком - фамильное, на склоне...

А дом? Ах да, конечно, где же дом?
 Ну да, конечно, главное забыла,
 А, впрочем, разве главное не в том,
 что МИР и ДОМ, промотанные было,
 буквально равнозначны?

Запах мыла

В ромашках влажных, вспененных лицом, -
 как только в детстве

и перед концом...

А вон и рифма:

свиснула и взмыла...

1976.

Утро в новом городе (Эскизы)

1.

Продолговатые тусклые лики яиц -
 Незавершенный эскиз Мадильяни?
 Где-то на заднем, невидимом плане
 Кисть окунается ложечкой
 в кофе на молоке...

... И остывает в руке

завтрак

из будущих
лиц.

2.

Домов бетонные бруски
 И звёзд стеклянные крупыцы...
 Шагнуть,
 поёжиться (не спится...)

И скорчит приступом тоски
 Вселенской -
 Смысл жилья иной
 Пронзит
 (житейского помимо):
 О, утренняя пантомима,
 Ау!
 А звука нет.
 Лишь привкус неземной...

3.
 Конструктивный пейзаж.
 Угловатая грусть.
 (Восковая оплывшая, где ж ты?..)
 Прорастают сквозь поры -
 обратная связь -
 Силуэты одежды.

На какой-то саднящей черте,
 Где материи сшиты аортой,
 Даже чувства - и те
 Натуральны как фрукты для натюрморта

Под рентгеном Леже
 Или в первом - в канун сотворения - чертеже:

Скажем,
 груша
 гитары
 тоски
 Или
 ракушка
 мысли
 о прошлом...
 ... День заранее прожит.
 Заведомо рамки узки.

Но пока не втянула толпа
 Как в туннель, как со всеми бывало,
 Трескается скорлупа
 Параллелепипедов и овалов;
 Они размножаются треугольниками...

Словно всхлипнула по косой
 В скрипке трещинка Пикассо
 И треугольное сердце в горле как
 Эйфелев колосок.

4.
 Шаги...
 Заворочались куклы в коробках...
 (Щекотная сказка о жизни короткой,
 Когда-нибудь снова приснись...)

Блестящие фантики утренних окон,
 Дымок из плафонов с недопитым током,
 Сухие хвоинки ресниц.
 Хотелось свечу и щемящую ноту.
 Догнав обогнавших, согреешься в ногу
 (О, медиум скрытой трубы...)
 У времени свой ритуал одиночеств:
 Закутаны в коконы - роем из ночи,
 Сложившие крылья судьбы...

5.
 Заснеженный трамвай
 На ветке - снегирем.
 Когда-нибудь давай
 Нечаянно умрем.

На остановке Грусть
 Так сладко умирать...
 Качнётся на ветру
 Табличка в номерах.

Сапог и рукавиц
 Морозный перепляс,
 Не видя наших лиц,
 Закапывает нас.

Осесть
 под снегом
 в снег,
 Мелькнёт
 в зрачках
 трамвай...

- Заждался человек...
 - Бывает...
 Зарывай...

1979.

xxx

Домой,
куда-нибудь домой!

О, ртутный блеск - шоссейный взлет !

Уже за сорок...

По прямой...

И стекла, жгучие, как лед..

На лбу расплавилось одно,

Припасть к другому- остуди,

В бредовом бисере окно,

Ночные мысли...

А в груди

Само уляжется к утру.

И рваным жестом,

неспеша,

В букетик цифры наберу

Как там, где лечится душа...

1980

xxx

Хорошо, что в листьях этих
Нет ни острых, ни тяжелых,
Что явился в лунном свете
В византийском шлеме — желудь,
Что лежим, как Пиринеи,
Мы, возвышенные к ночи,
И что наша жизнь длиннее
Наших строчек.

И короче:
На губах дрожат — не стынут
/Как прекрасно ошибиться.../
Голубые слезы сына —
Капли от самоубийства.

1978

xxx

Тяжелые
спелые
капли

висят,

А новые дожди - с трапом.

Стоический сад, Ботанический сад

Охвачен паническим страхом...

Откуда он знает, что это - весна

Со всем совершенством абсурда:

Отсюда накатит сирени волна,

Проклюнется горечь - отсюда.

Сады ведь не помнят, на то и сады

/Пустеющий стержень в спирали/,

Рассады,

осады,

осадков беды:

Надсаживаясь, - умирали...

Смотреть, как мучительна их благодать:

Мягчает в черемуху иней...

И душу трясти,

тормошить,

утруждать

Разгадкой таинственных линий.

Должна устоять в перекрестных ветрах,

В решетках, что сами чинили...

Стоический сад,

ботанический страх

И обморок бледно-чернильный.

xxx

Костлявой садовой скамейки
Прогретый на солнышке бок.
Пикник воробьиной семейки
И путаной строчки клубок.
Вязанье весенней погоды,
Чей запах еще незнаком
Собачке печальной породы
В колье с жестяным номерком.
И влажные кашли в полоску
Сидению - наперекор
/Ах, эта больничная роскошь:
Из рая — круизы во двор.../
И пусть мимоходом колеса
Обрызгают грязью тщеты —
Спокойствие туберкулеза
Скорее заденут кусты,
Набухшие горечью клейкой...
И, кажется, зреют всерьез
В врачках, не повторенных лейкой,
Дрожащие искорки слез.
И, кажется, маются устно
О том, что в блокнотике - я:
Господь не придумал искусства
Крылами в размах бытия.
Чтоб весь этот свет или сумрак
Вобрать, забытьем охватив,
Излишне детален рисунок
И все же бесцветен мотив...

xxx

Звнящий свет корон
В зиме белоколонной —
Маркиз О, де Колон
Со свитою флаконной...

О, кто нас наказал:
Не вещим жить, а вещным...

А веки на глазах
Как бабочки трепещут.

А пальцы с огоньком
Сгибаются в кавычки...

Поймать себя ничком

И дернуть за косички...

О, поиски души:
За взлетом — ковыляя...

Скрипят карандаши
На белом - костылями.

1977

xxx

Клеёнка. Стакана ребро

Сквозь дрему - колонной...

Так столбики света в метро

Скользят по наклонной.

Березы — в ночном ветровом

Кромешном квадрате...

Забиться во сне видовом

У края: кровати,

Забиться...

Свисает рука

/Не холодно - Лета/

И светится из далека -

Душой из предмета.

В последних секундах до сна -

Падение вишен.

А мир, словно вид из окна,

Насквозь неподвижен...

1977

xxx

Двоюродный лире певучий кувшин
 И галькой селеновой эллипс лимона
 Прохладны глазам, как телам - крепдешин
 В полуденном зное, томящем до звона
 В ушах, до мифической связи сирен
 С оливковой мухой, в девицах - навозной,
 Вулкана - с букетом, - Сарьяновский крен
 Июльской природы, готовой на воздух
 Взлететь из последних расплавленных сил,
 Снимает как приступ сквозная терраса
 Миражем осенним... И дышит настил,
 Не сдавленный ворсом и пылью паласа,
 Полянного... Кто изобрёл витражи -
 Наркотик для зренья, целебный двояко:

Сперва одеяльце лоскутное лжи,

А после - мозаика памяти, яда

Целебная доза... И падает жар,

И столбик венозный бледнеет , как будто

Снижается в воду оранжевый шар

Висящий над сыном, сидящим как будда;
 И бой в барабанных, слабеющий в стон

Настенных, и оспа газетного фона...

...И вот проступают кувшин и лимон -

Бессмертная и совершенная форма!

1978

xxx

Максимализм в такой миниатюре,

как эта жизнь?..

Как долго муха тонет в конфитюре...

Как далеко уводят этажи

глаза /как ведра с краскою - лебёдка/...

И как свежо — как дождику вослед

и проблеску в душе...

И всхлип ребёнка,

и шарканье соседских сандалет,

и омуты сиреней, и: акаций

сугробы /не оттаяла зима -

окутала/.

И впору отречься

от Кафки,

и слюнить Карамзина...

Как мало нужно в пасмурной Отчизне:

Гроздь воробьев, щепоткою — пшено,

И к мировым трагедиям отчисли

Все то, что, в общем, просто не смешно...

И нулевую мартовскую нотку

Подбрось до звезд, прогнозам вопреки;

и снова жизнь раскачивай, как лодку

На середине медленной реки.

И снова жди, вцепившись в подоконник,

Чего другим - Господь не приведи...

А немота, звенящая, в груди, -

Как птицы в синеве над колокольной...

1976-77

xxx

Оглядишься, а за окнами —
окраина:

Как проснешься, а на улице -

зима.

Невесомая, а вовсе не аграрная:

Одуванчики и новые дома!

И пока выходишь, будто одеваешься,

И пока осядет шлейф грузовика,

Вырастая -

стая -

тая -

одуванчики

Незаметно

распушились

в облака...

1981

xxx

Избегать бирюзовой воды —
На нее и купальщики падки.
Полюбить за угрюмость пруды,
А за них — одичавшие парки.
Обменяемся как при свече
Страшноватой и странной улыбкой.
Слава Богу, листок на плече
Не погоном, а скрипкой...

1980

XXX

Жизнь теплится еще под кожей восковой,
Так в мраморе - взглядишь -

ветвятся

капилляры...

Ещё ваять строку, мечтая о живой ...

Пилыстры - без

сучка,

а дети - шепелявы...

Лохмотья напрокат-

и в нищенский изыск,

Когда запретный плод

на блюдечке к обеду?

..Не выговорить бы...

Почувствовать язык...

И к Пушкину придти -

как к логопеду.

1979

* * *

Какая погода!

Ты слышишь, какая погода!

Осенняя ясность, —

что может быть глуше и чище...

А все этот мальчик,

обиженный мальчик с фаготом,

Что музыку ищет,

сбежавшую музыку ищет

В заросших канавах,

в пустом Мариинском театре.

(Врожденная нота—высокое произношение.)

Трепещут ресницы

и бледность щеки оттеняют,

И сбившийся галстук

сжимает

подтекстом нашейным...

Витай и витийствуй,

рыдая зияющим креслам!

Ты можешь напиться.

проклясть,
 мельтешить на арене,
 Но чтобы в другой
 уходящая эта воскресла,
 Раскрой свой футлярчик,
 свое вдохновенное зренье!
 Какая погода!
 Ты слышишь, какая погода!
 Конечно, вернется,
 простит, что ни в чем не виновен;
 Ах, мальчик с фаготом,
 потерянный мальчик с фаготом,
 Да мне ли спасибо
 на добром, и добром ли, слове...
 Какая погода!
 Сдержите отрывистый кашель,
 В тиши фолиантов—
 житейский отстук телеграммой,
 Высокая нота
 не ждет благодарности нашей.
 Ее удержать—
 за нее удержаться над ямой...

1979

Когда и час, и голос твой
 Проходят, как проходят мимо,
 Стихов случайных торжество
 Внезапно и необъяснимо.

Так вдруг, с хорошим холодна,
 Скользнешь, качнувшись, из гостиной
 И с первым встречным пьешь до дна
 На темной лестнице инстинктов.

1976

xxx

Что-то не по себе - словно дышит больница

И не в силах помочь.

Над рождественским снегом тяжелая птица
Зависает как ночь.

И висит над душой / и вороной - ворона/

Тень руки - на звонке

...Крылья в черных перчатках, голубка Харона,

Ты сегодня за кем?

1978

xxx

Как ветрено, - смотри,

как розово,

и крест

Мерцает,

/как в замке последнего жилища/

И что-то в этом есть,

как будто переезд

При сем - благословен...

Как жалобно мы ищем

В природе - добрый знак.

Божественный кивок,

Ответ, забыв, что вся -

вопрос ребром Адама...

И тот же самый крест

нырнет, как поплавок -

Как пасмурно, смотри...

Душа неблагодарна

Тому, кто утешал -

повесится артист

И настенькины сны

развеются, как пепел...

...Смотри, как высоко,

как набожно,

и крест -

Из тех же самых сфер,

которые Коперник...

Как всходят на костер -

запрыгну в грузовик,

Поехали - пора!

О, будь благословенна

И улица моя,

и жизни черновик,

И пафос - усмехнусь - обычного
обмена...

1978

ОБМЕН

Буду жить здесь, глаза отводя,
Незастроенной высью проветрив,

За гранитной спиною вождя

У пузатого Дома Советов.

Даже урна в дебелом снегу -

Полной чашей.

...Гигантствует рядом
Все, чего никогда не смогу

Полюбить неприкаянным взглядом.

Но привыкну, что это - "домой",

Спотыкаясь на преодоленьи;

И как Пушкин в крылатке зимой

Аникушинский сталинский Ленин -

Вдруг замечу. Придумаю вдруг.

Потому что не выжить иначе.

Потому что светящийся круг

Нашей жизни до нас обозначен.

Потому что в районе ином,

На краю, где скромнее уродства,

Не воздвигли такой гастроном,

И метро, и другие удобства.

И вздохнув / И о чем разговор...

И поди перестрой мирозданье.../,

Буду жить здесь окошком во двор -

Утешение и оправданье.

х х
х

"Неизвестный художник, портрет неизвестной."

Так и мы... Так и мы...

Реставрируют землю безоблачной бездной

После всей кутерьмы...

Как случаен отбор в институты бессмертья

На кровавых пирах:

Сколько в луврах и лаврах, но сколько -

проверьте:

Лучших - пепел и прах...

Штукатурка столетий - лохмотья капусты.

Обнаружат поздней,

Что и в наших слоях надрывалось искусство,

Задыхаясь под ней.

Незаконнорожденные краски и всплески,

/Сколько их утаишь

И утопишь ещё.../

Но прорежутся фрески

Через толщу афиш.

/Перед вечностью-равных иконам: невеста-

Без минуты - вдова... /

Неизвестный художник... Портрет неизвестной...

Акварель... Кружева...

"Деятнадцатый век?" - по приметам подсчитан.

Что ж, такая судьба...

Кто-то бился всю жизнь над зефирной морщинкой

Полудетского лба.

И светло на душе, и сумбурно, и грустно,

И столетье мало.

Может быть, оттого не стареет искусство,

Что взрослеть не могло?

Что в каком-то конечном,

исходно-небесном

Счете,- к бездне лицом,-

Мир опять уравниенье с ДВОЙНЫМ НЕИЗВЕСТНЫМ:

Красотой - и Творцом...

xxx

Да светятся белые кухни,
 Что выпали в наши дома...
 Здесь водку хлещи и опухни,
 Когда ни очнешься -

зима!

Сперва осиняет окрестность
 О полку ушибленный лоб ...

И вдруг —

бесшабашная трезвость,
 Как будто из бани- в сугроб !
 Как будто обратные крылья
 Со вздохом сложились в груди:
 Сегодняшний табель - закрыли,
 Сегодняшний день - впереди!..
 О, сколько свободы и счастья;
 Минутами щедро соря,
 Однажды расслабить запястья
 В наручниках

типа

"Заря"...

Живешь, а как будто бы умер.

Кури, растворяясь

в дыму,
 И зуммером черным, как юмор,
 Не выдай себя никому.
 В кофейный насмотришься, карий,
 Смакуя загадку свою:
 Не значиться в списках аварий;
 И в дружном гриппозном строю...

70

И выйдешь. и время: отпустит,
Пока в пешеходной волне
Себя не поймает на грусти,
Что мир обошелся вполне...

1979

НОВОСЕЛЬЕ

...Ну что ж, поговорим о Глазунове.

Притихли... Примоднились... Возмужали...

А, в общем-то, почти не изменились,

И ждут авторитетного ответа

(напрасно...)

Я б ответила: виновен...

Перед собой. Как, в сущности, любой.

/Да не поймут: не худшего осудят,

как вознесли не лучшего.../

Ну что ж,

поговорим...

Паркет сияет - внове

ему не только гости - сам хозяин...

Паркет его

пока не узнает

/ и что мне им сказать о Глазунове.../

блестит, кар самовар,

а в нём - бутылок
фатальный отсвет...

/Тех, что на краю/

...Ну что ж, давайте выпьем за детей

/лукавые ромашковые лица

Заглядывают в щелку -

вспышка блица,

Исчезновение - ангельски бесследно,

и только смех рассыпан в темноте

веснушками.../

Так выпьем за детей!

...А на закуску снова Глазунова

подкладывают...

Желтые бруски
возведены лесами новостроек

/архитектура имени хозяйки, фрагмент,

гастрономический этюд... Придерживает,

чтобы не упало обратно -

в сыр...

Советский. Со слезой...

Как пошутил один певец свободы,

из тех, кому дозволено шутить/

Поговорим...

Натянутая нотка

висит как ширпотребная открытка:

овальный лакированный Шукшин...

А слева профиль города туманный.

/Мне так не снять, но только тем и странный,

что иностранный/

Надобно сказать

хоть что-нибудь...

Хоть вежливости ради.

/Не то чтобы скрывая любопытство,

а просто как-то нечего сказать.../

Ну как там - говорю - за рубежом,
как будто это ниже этажом...

Как будто это выше этажом,
скучаешь - говорит - за рубежом
супруга побывавшего...

...Но знаешь,
бывает и такая ностальгия -
по Западу...

Наверно, это осень...

Один из вас мне тихо говорит,
И бледное лицо его горит,
Как будто - и за что ?.. прощенья просит.

И машинально тянется рука
Не за фужером - за борт пиджака,
Где партбилет граничит с вадидолом...

...Об этом раньше - рано, а теперь,
Пожалуй, поздно...
Вздрагивает дверь...

/Сквозняк в коробках - вместо домового/

И кстати разговор на Глазунова
как стрелки переводится

/ Увы, кто стрелочник... - сама же виновата,
что научила нить витиевато... Вы лучше тех,
кому на смену - вы. Но мне, увы, от этого не
легче. Как хочется порою покалечить

плоды своих же рук и головы... Как из ребра... Как
будто и не рада, что вняты вам, которые на ты
с эпохой, - ограниченная правда и прикладная сила
доброты; седьмое чувство трезвости и меры. Не
перебрать бы... Впрочем, всё равно –
вам не опасны горькие примеры,

как этот ливень, бьющийся в
окно в истерике. Стеклянная преграда...
Как раз
когда уже беречь не надо
окрепших вас, потерянных давно.../

Уж лучше говорить о Глазунове...
/ И что ж теперь: вернитесь в слесаря -
сбивать с пути, - не возвращайтесь к женам...

... И так сквозит в радушии напряженном
ревнивый страх, как возле алтаря...
И как сказать, чтоб не терзались зря,
когда по вкусу это угощение:
неуличимый воздух, ощущение
болтанки, в бухты бросив якоря/

И нужно ли об этом говорить...
/Лишь затаив, увы, эффект обратный...

Та - расползлась... И вид неаккуратный,
еще бы - двое...
В этой - злая прыть
аля кокетка... Громко и вульгарно...
Лишь междометье бросить - и угарно
да будет всем...
Но если жизнь бездарна,
То преступленье - смертью одарить/
И кровью искупать своей - чужие
румяна...

/ Вы уже совсем большие,
А раньше - было рано/
Так пребуду

за чувство превосходства благодарна
и ничего не стану говорить.

Давайте лучше выпьем.
Я - за вас,

Вы - за меня.

За встречу.

За прохладу.

За новый дом, что в небе не завяз

И не осел.

И что еще мне надо...

/Вы лучше тех, кому на смену вы.

Что сечь себя, -

достаточно вдовы,

что звезды вы не в полночи хватали;

и кто-то должен жить в жилом квартале

на правом возвышении Невы.../

Как занавеска девственно бела...

И как закат былинен: поле крови...

Пора домой.

Ах, да, о Глазунове...

О вставке...

Не знаю. Не была.

1974

Стансы в октябре
/ Ленинград - Рига - Ленинград /

1.

Черепки листопада.
Деловитый вагончик.
Твои песни, Эллада,
Обменять на талончик
Популярный? И рада,
Но, к несчастью, не дура.
...Прибалтийской прохлады
Просит мускулатура.

2.

Не куда уезжают -
Уезжают откуда:
От немоты зажатой
И словесного зуда;
Там, где всё незнакомо,
Чужестранкой - не чудо.
Одиночество дома -
Как на юге простуда.

3.

Не соборная книга,
Не музей - посетили...
Неприступная Рига -
Тучи в башенном стиле.
Ни жаргонного крика,
Ни ларька, ни окурка;
Будто равновелика
Всем скорбям Петербурга.

4.

Инструмент органиста -
Мостовые бессонниц.
Как душа органично
Входит в жалобы звонниц
И в готический пафос
С парадоксом поклонниц:
Распрямляясь, как парус,
Что белее покойниц...

5.

Их осталось немного:
 Как грехи - отпустили
 В мир иной...

Синагога.

По синайскому стилю -
 Новый год. Вместо бога
 Служит стереоящик.
 Водопой носорогов -
 Прикоснись - настоящих...

6.

Как пергаментны листья
 На кладбищенских плитах -
 Умудренные лица
 Послезавтра убитых.
 Но пока - шевелиться,
 Дунет ветер - и в танцы!
 И дыханье продлится
 На осенние стансы.

7.

Этот юноша сонный,
 Приподнявшийся к свету...
 Прах крошечный. А солнце
 Только снилось поэту.
 Восходило под кожей -
 Розовела, согрета.
 Райнис... Рай... Непохоже.
 Но - гармония эта...

8.

Яркость „Детского мира“
 Затмевает продажу,
 Перевернутой лирой
 Касса кажется даже.
 В том и суть сувенира -
 Извлечение сути
 Из реального мира,
 Но - как дети рисуют...

9.

Осень. Жимолость. Жалость
 И к себе и к природе.

Сердце дрогнуло, сжалось -
Видно, дело в погоде.
Расшалилось, но шалость...
И когда научусь я
Все, что в грусти смешалось,
Отличать от предчувствий...

10.

Сквозь дожди проплывают
Поезда как паромы,
По утрам прибывают
На пустые перроны.
Здесь, конечно, бывают
Руки за плечи - встречи,
Но о них забывают,
Передёрнувшись, плечи.

11.

Ты прости, что не рада,
Что смотрю - и не вижу.
Позолот Ленинграда
Лист померкший превыше.
Что мне город парада -
Праздник провинциала;
Не смотри так, не надо...
Линий венецианство.

12.

На Васильевском ливень,
Но какой-то щемящий.
Это мокрые сливы
Или взгляды щенячи?
Позабывшая сына,
Постигаю как нянчу
Этот невыносимый
Остров светлого плача.

13.

Не пора ли, однако,
Примириться с погодой
Как заморыш - собака
С бесприютной породой:
Вихрем в случку и драку,
Разогреться, а там и ...

...Не пора ль Пастернаку
Изменить с Мандельштамом?

14.

Перелистывать книги
И не видеть ни строчки,
Только пятна и блики,
Закорючки и точки...
Тяжелей, чем вериги,
Крылья в гипсе. Довольно.
Впрочем, риск невеликий:
Мёртвым падать не больно.

15.

На исходе и суток,
И терпенья, и пенья
Возвратится рассудок
И проступят ступени.
Навсегда не до шуток,
Если раз отравиться.
Спуск спокоен и жуток.
Тень крыла - атавизмом.

16.

В жизни странно светило:
То черно, то - созвездья.
Втрое счастьяхватила -
На троих и возмездья.
Не летят в одиночку
Похоронные вести.
С кем последнюю ночь
Коллективной невесте?

17.

Над тетрадами горбась -
Не по снегу босая.
Может, в том-то и горечь,
Что никто не бросает.
Времена ли такие,
Что мы сами с усами,
Что решительным кием -
По шарам с волосами...

18.

Ни щенка, ни телёнка,
Всё бетон да пластмасса.
Облупилась клеёнка
В трафаретах фламандских.

Посмотреть удивлённо:
Как нетрудно сломаться
Вам, любившим влюблённо
Красоваться в романсах...

19.

Впрочем, ведает Боже,
За какие карает...
Никогда уже больше
Ни дворца, ни сарая.
Вместо ложи масонов -
Сцена, алым сырая.
В катастрофах массовок
Погибаем, играя.

20.

Для того он и создан
/А не пугалом - полю/
И в невидимость сослан -
Чтобы сваливать волю
Неуместную в теле
И с душой невысоком.
И Всевышний при деле,
И на шею - лассо так.

21.

Что ж, спасибо судьбе и
За смертельные трюки.
Отбивайте, плебеи,
Восхищённые руки!
Вам бы хлеба и зрелищ,
Мне бы только, робея,
Убедиться, что реешь
И весной - голубее...

1978.

К ПОНИМАНИЮ ЭСТЕТИКИ

Как живописен писающий мальчик:
Живой амурчик, парковый фонтанчик,
Невинно-золотистая дуга...
А девочка на корточках - лягушкой.
И так не к месту бантик над макушкой...
Но вдруг вспорхнет - и бабочка Дега...

А мальчик обрастет унылой шерстью,
И голос кукарекнет на нашесте
Цыплячьей шеи... Катится река
Живая жизнь... И вся, до капли, тема!
И аденома в ней - как хризантема
Звучит, забыв, что мучит старика...

1983

* * *

Ничем не удивишь: ни смертью, ни Джокондой
Того, кто видел пляж летейских берегов...
Повесят ли на крюк, иль вынесут из комнат ,
Не лучше ль скрестный блеск, осенний Петергоф? . .
Где весь восторг и свет, искрящийся в фонтане,
И крона, и дворец легки, как за чертой...
И живопись Творца, где мы на заднем плане,
Тем только и жива, что влагой золотой...
Не лучше ль в Петергоф, где белки не пугливы,
Покуда на шедевр не выдрали хвоста;
И вторят за спиной приливы и отливы
Фонетике разлук от люльки до креста...
Где, умник, помолчи о стоне суггестивном,
О колере травы и тяжести долгов,
Затеплив, как алтарь, касаньем совестливым
Воскресный, восковой, версальский Петергоф...

1986

ИЗ КНИГИ «ПОДЗЕМНЫЕ ЦВЕТЫ» СТИХИ 1980-1987 гг.

* * *

Кому даны слова - тем четки не нужны:
Уравнотемишь дух строкой стихотворенья
В молитвенном углу бессонной тишины,

На клятвенной реке в туннель
столпотворенья...

Кому даны слова - тем счастья не дано
Иного: ввысь, к Нему, устами бессловесных,
Как чайки над водой, гортанно и черно,
Чьи крылья абрис губ, сожженных, бестелесных.

Кому даны слова - тех по камням в грозу
Протащит за язык Пророк за колесницей;
И бритва осмеет венозную лазурь
Анализом на миф и желтую больницей...

Кому даны слова - тем слова не сдержать:
Сорвется, и в туман заблудится белесый...
Кому даны слова - дано принадлежать
К юродивым, до слез смеющимся сквозь
слезы.

Памяти А.Морева

От великой души до банальной судьбы -
Только жизнь, и не больше того...
Забивается пылью дыханье трубы
Под бульдожьим замком кладовой.
Так высокую ноту впотьмах берегут -
Спился сторож и пафос осип...
И не траурный марш у обветренных губ,
А досадная мелкая сыпь.
Да и что было ждать на промозглом ветру,
На унылом летейском дожде,
Где березы, как палочки Коха, к утру
Колыхались в подробной воде...
Просвещенных невежд возгордившийся век
Не допустит линейных потерь:
На бесславную твердь обречен человек,
Тщетный труд и слепую постель.
Наглотайся вестей и звезду потуши,
Акварельные сны позабуди...
До безвестной судьбы от пропащей души
По России - укатанный путь...
Не блазни же, Господь, галереей миров
Муравейник хвальбы и хлопот,
Чтобы в бледном, клиническом свете метро
Не почудился выход и вход...

* * *

Не могу отрешиться от горестной нашей судьбы...
Поднял каменный лев волевою угрюмую лапу...
Больно плакать и петь.
Бесполезно идти к эскулапу.
Как ты давишь, о, Рим...
Мы варяги твои и рабы.
Что нам радости в том, что могучи твои колоннады
Только злее трещат под классической ношей хребты...
Приходи же, о, Рим, поскорей в неизбежный упадок,
В грязь лицом упади с высоты.
Вот тогда-то и пустим по кругу певучую чашу,
И расслабим запястья в наручниках типа "Заря..."
Здравствуй, нищее время, божественно голое, наше!
Мы явились и жили не зря...

ЭРМИТАЖ

О чем ты думаешь, Афина,
Мадонна - Мраморный Венок?
Какая свалится лавина
На эти головы у ног
Золотоплешные, как дыни,
Без тюбетеек и папах,
В распоясавшейся гордыне
И потной шерсти нараспах?
Какие, Зевсом осиянны,
Грядут грома, и что беречь?
Увы, потомкам обезьяны
Невнятна эллинская речь...
Глазеют, щупают украдкой
К себе примерить - пьедестал...
И называют прочной кладкой
Светящей вечности кристалл...

ПУЧОК СОНЕТОВ НЕ-О-ЛЮБВИ

У поклоненья на устах
Флоренский, Соловьев, Бердяев.
В каком скиту, в каких лесах
Спасть от книжных разгильдяев...

Есть жизнь как жизнь... Ее хозяев
Бегу, - при щах и при постах
Флоренский, Соловьев, Бердяев
Для них похерены в пластах...

Здесь мезозой, а в тех местах -
Флоренский, Соловьев, Бердяев,
Святой огонь...(Когда с блядами
Священнодействуют в кустах)

И совесть хмурая чиста.
И дева внемлет, рот раззявив...

* * *

А дева внемлет всем подряд:
И неофиту, и неону
Вечерних вывесок. И звону
Всех истин, кои не горят.

Ей собразнителен наряд
И ретро-Хлои, и Юноны;
Рахили, благо, говорят,
Что нет погромов в годы оны.

Феллини любит макароны...
Сервизы в воздухе парят...

Ну, а художники творят,
И воспарят пост-похоронно...
(И сей кишечник между гряд
Взойдет за внутреннюю крону...)

* * *

Вздохмачу крону... Отряхнусь
От хрупкой ветоши. Ну что же...
Перо к ногам роняет гусь,
Сезон цветения итожа.

Гуськом паломники... И пусть
По веткам дрожь, мороз по коже,
Мне семантическая грусть
Псевдоромантики дороже.

Поскольку голый мозг на ложе -

С медузой пламенный союз,
А реалистов сочных рожи -
Как шахматисту нужен туз.

Уж лучше так: соленый вкус
Губы прикушенной; но все же...

* * *

Но все же в мире голых схем
И обнаженных разногласий
С самим собой, есть выпить с кем,
Кто без цитаты свет погасит...

Чей интеллект иных систем:
Как керогаз... (И не опасен
Не для соломы...) Тем прекрасен,
Что просто девственен и нем...

Закончив дело, спит... И ясен
Лоб, не гудящий от проблем.
Но так сопит, что к месту Брэм...
И тащит в загс, как в угол красен...

А сотворить себе гарем -
Хлопот, как дети в каждом классе...

* * *

О, бабники! О, высший класс!
Неоцененные таланты!
Переходящие, как пас,
Горизонтальные атланты...

Есть в море жизни только брасс,
О чем не знают дилетанты,
Они используют матрас,
Как пьедестал для чтенья Данте...

Мир тратит век на пошлый фарс:
Собрания, званья и серванты...
О, проходимцы скользких трасс,
Из всех эдемов эмигранты!
Еще люблю, что бросишь вас -
Не рветесь в траурные канты...

* * *

Кант прав... Трагическая суть
Судьбы выходит за пределы
Любовных пролежней... И телу
Простерт все тот же санный путь...

Светает. Вздых колышет грудь...
 Начать с доски, где снова бело?
 Но что за птица ночью пела
 И скрылась в матовую муть?

Покуда в градуснике ртуть
 И память в нас не охладела,
 Хотела б знать, чего хотела
 Душа, не заживо ль уснуть?

Иль кое-как и как-нибудь
 Повеселиться неумело?

* * *

Веселье листьев, что висят
 На волоске... Косяк лентяев
 Собой замусоривших сад...
 Флоренский, Соловьев, Бердяев...

Какими тонкими сетями
 Опутан мир, где все не в лад,
 Все невпопад; и сердце тянет
 Неудержимый листопад...

Где сам себе не больше рад,
 Чем заусенцам под ногтями,
 А если руку друг протянет -
 То нестерпимей во сто крат...

Уж лучше шашни или мат,
 Тот, одноклеточный, с ледями... ..
 Флоренский, Соловьев, Бердяев
 На опохмел, как говорят...

* * *

Россия. Ночь. Атараксия.
Тетрадь в светящемся кругу
И голубые на снегу
Линейки сосен теневые ,
Не эта ль сумрачная связь
Сомнамбулических сияний
И не дает как в ересь впасть
В отъездов горькую всеядность?
Все древесины и вода,
Но Боже! Как осиротело
Молились рухнуть господа
Не от инфаркта - от расстрела...
И улыбающийся в блиц
Весь мир заменит мне едва ли
Кастальский луч в слепом подвале
В стальном репейнике границ...

ПИСЬМО В ЗОНУ

Л.Волохонскому

Я напишу тебе, как начинается осень,
Как заржавели колючие наши деревья...
Лающий ветер сигнал о побеге разносит,
Утка на блюдо слетает с пучком сельдерея.

Я расскажу тебе, как хорошо и уныло
В голых садах, где никто не прикинулся вечным.
Облако в луже вскипает и гаснет как мыло.
И ни просвета, ни брата, ни веса в заплечном.

Нет, не украсил медалей твой доблестный профиль,
Но и детей не сослали на заднюю парту...
Водка не греет. Хандрю потихоньку под кофе.
Руку кладу как судьбу на невзрачную карту.

Контурсы счастья темней, чем пуктир пулемета...
Чувства устали. Осталось и теплится - меры...
Так и живем: вдохновенье, зарплата, суббота
До воскресенья Любви, и Надежды, и Веры!

Так и состаримся в этом октябрьском загоне,
Не наблюдая курантов на праздничной вышке,
Где за поэтом следят как за вором в законе,
Звезд нахватав, уж, конечно, не с неба, мальчишки...

Мир их большому, до слез петербургскому дому...
(Пусть затаятся, а вслух никогда не прольются...)
Что нам поведать друг другу?
Все слишком знакомо:
Прах наших листьев, и Кранах, и мрак революций...

Окна блокадные - голодны наши конверты.
Теплое слово в голубенький гробик забросим,
Вдруг долетит, оживет... И как хрип из каверны
Кто-то услышит: и здесь обнажается осень...

ПРОГУЛКА С СЫНОМ ВДОЛЬ ЗАБОРА ДЕТСКОГО ДОМА

От сиротского дома, где бросила пьяная мать,
Этот горестный шарик покатится в светлые дали...
И страна его будет, как сына, к холмам прижимать,
И, как цацки, дарить, разбудив по тревоге, медали
За ангины на койке казенной, за слезы в кулак...
О, российская, бабья, простынно-похмельная жалость...
Ведь не царский сучок, не отродье зарытых в ГУЛАГ,
А родное, свое.. . Вот и сердце по-божески сжалось...
... Ну, конечно, отдай все конфеты, смешной воробей
В продувном пальтеце, из которого выросли трое...
Голубые желёзки, мое беспокойное роз,
Ты простишь ли потом, что, увы, не безродный плебей...
Что тебе отродясь птичьей клеткой родительский дом
И обноски, объедки, задворки за детское счастье.
Если пьяная чернь не проверит железом запястья
Не дурная ли кровь у того, кто начертан жидом...
Если чёрная пьянь не сойдется на книжный пожар,
Хохоча и крича: Докажите, что слово нетленно...
... Так спеши пожалуй робеспьера с разбитым коленом
И, конечно, отдай и конфеты, и розовый шар...

А.В.МАКЕДОНОВУ

Мы нараспев дышали Мандельштамом,
Почти гордясь припухлостью желез...
И жизнь была бездарностью и срамом,
Когда текла без мужественных слез.
Оберегая праздников огарки,
Средь ослепленной люстрами страны
В дни Ангелов мы делали подарки
Друзьям, что были дьявольски пьяны...
Так и взрослели: горечи не пряча,
Брезгливо слыша чавканье и храп;
И в нашу жизнь - могло ли быть иначе -
Вошли Кассандра, Совесть и этап...

НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Как торжественна музыка в 24 часа...
Даже можно поверить, что наше злосчастное время
Называют великим... Что были и мне голоса,
И утешно зывали тянуть эту ляжку со всеми...
Где еще так пирует, как в нашем раю, нищета!
Полыхает судьба в закопченном подвальном камине.
Мы свое отгорели. Нам черные риски считать...
И котельных котят неприрученной лаской кормили.
Да святится манометра - узенькой лиры - изгиб!
(Чуть пульсирует жизнь в незатянутой этой петельке) ...
Так Орфей уходил. Так огонь высекали - из дыб...
Так меняют режим социального зла - на постельный...
Что российским поэтам на ярмарке медных карьер,
Где палач и паяц одинаково алы и жалки...
О, друзья мои: гении, дворник, охранник, курьер,
О, коллеги по Музе - товарищи по кочегарке!
Что играют по радио? Судя по времени - гимн...
Нас приветствует Кремль в преисподних ночных одиночках...
Мы уснем на постах на постах беспробудным, блажным и благим,
И слетятся к нам ангелы в газовых синих веночках...

* * *

О, времена: нужник, наждак
Небритых щек, и вин смешенье...
Кто спросит, можно ль снять пиджак ,
Штаны - и то без разрешенья...
О, слог: Привет, салют, виват,
О, рок... И век не виноват
В своем блистательном уродстве.
И мы вступаем с ним в родство,
Как погружаемся в раствор ,
Существовать, а не бороться...

Что проку в ханжеской ворчбе ,
Поэта требует народ
К священной жертве, к ворожбе,
Что орошает огород...

Нам не дожидаться перемен,
Нам шестеренкою - лимон.
И вянет, морщась, цикламен.
И процветает гегемон.

Мы удобрения земли,
Ростков, грядущих через грядки.
Хоть это мы еще смогли,
Когда захлопнулись тетрадки...

Что проку плакать над собой
И земляничною поляной,
Когда тебя сантехник пьяный
Прижмет под фановой трубой...
Люби его как, этот мир,
Раскрой ответные объятья
(Куда как трогательно мил
Ком с кожей содранного платья...)

Хоть это мы еще смогли:
Сплатить последние рубли
С могучеплечим авангардом,
Пожечь стихи. Похерить страх.
И проигравши судьбы в прах
Не удавиться над огарком...

* * *

Нет, не за то, что нет чесночной
 И краковской (хоть никакой!),
 Что политический чиновник
 Икру грабастает рукой ,
 Пускай нажрутсЯ до икоты,
 Еще стройнее будем мы
 Без ширпотребной позолоты
 В сквозном сиянии зимы...
 Ведь не зверье, чтоб выть без меха
 (И не без перьев соловьи...)
 Нет, не за то, что мир объехать
 Нам не дадут и за свои...
 И не за то, что ваши судьи
 Загнали нас в кольцо флажков,
 И не за то, что наши судьбы
 В руке соломенных божков...
 Но за оборванное здрасьте,
 За слог, почерпнутый из ям,
 Мы счет предъявим этой власти
 По всем сонетам и статьям...
 О, логос-лотос, ты растоптан,
 Ты обещен на корню
 Публицистическим восторгом
 И бранью невских авеню...
 Слух голоден. Эдем, олива,
 Фонарь, аптека О, изыск...

...

Начпупс, горгав, тыр-пыр, главпиво...
 Любая кара справедлива
 Как месть за вырванный язык!

* * *

Любите живопись, поэты!

(Н . Заболоцкий)

Не живопись, а жиропись. И не
Картины выставляются, а те, кто
Замешан в их создании... В стране
Сознание - отступление от текста.
И мыслящий инако (и на кой...)
Но мыслящий не может не инако !
Бредет запоминающей рукой
В прицеле запрещающего знака
По шпилью - золотому волоску,
По краешку гранитного багета...
...Наркотики, вводящие в тоску,
Отринуты: элита и богема;
Не живопись, а мертвопись. И не
Палитра, а цветная политура...
Как странно уживаются в стране
Смурная и казенная халтура...
Как пьяницы с милицией: бредут
В обнимку, а прохожие по - краю...
Шарахнешься, поморщишься, и тут
Окошко, воссиявшее - сгораю!
И живопись! И жестопись! Стоишь
И слушаешь, как светится дорога,
Кого-то увозящая в Париж,
Кому-то заостряясь до острога...

*

Ни живого огня у печи и свечи,
Ни чернильной томительной влаги...
И, как дева, Мария уныло пречист
Светлый лик одинокой бумаги.
Как ты выжило, Слово, до наших имен,
Еле слышных в плебейском разврате,
Где публичная Муза сосет микрофон,
Пьяный Каин рыдает о брате...
Так чудовищно сбылся обещанный хам ,
Как не верить насчет остального...
Ничего не добавишь к библейским стихам,
Кроме тихого вздоха ночного...
Полустертого между прощай и прости
Полушепота, рвущего связки!
Кроме хруста бессонницы в лобной кости
Отмирающе-лунной окраски...

* * *

Не беда, если копится тихая грусть,
И прощаем друзей, и на Бога не ропщем...
Предпоследняя ясность вливается в грудь,
Как звенящая высь - в облетевшую рощу...
Синева ноября и крадущийся шорох вдали...
И спина, обращенная в слух, вздрогнет:
хрустнули ветки...
С опозданием на вздох...
И нахлынувший запах аптеки,
И углом под ребро уле-тающие
журавли...
... Чьи холодные руки на веки легли
Словно в детской игре...
Неужели навеки?

* * *

С. Бурченковой

Кто ждет конца, а кто - начала Света...
Кто просто лета - влажная земля...
Крест на обложке Нового Завета
Не сувенир, а мачта корабля!
Кто пьет в корчме, кто - с удочкой на берегу,
Кто фанатично верит в чудеса...
Звучат морзянкой в Ноевом ковчеге,
Перекликаясь, птичьи голоса.
Кто красит яйца, кто целует братьев,
Кто услаждает брюхо куличом...
Фасады зданий и фасоны платьев
Согласно плещут майским кумачом!
Блажен, кто нынче верует во что-то,
Не из одной макаки сотворен...
И чист четверг. И светится суббота...
И Летний сад шуршит календарем...

* * *

Не то чтоб эту или ту
Черту, - как простенько и мило...
Не чистоту, а наготу
И боль неприбранного мира
Нам тщится выразить зима,
Как париографы Эллады...
И студень лунного белья
Смущает мрамор колоннады.
... Увидь в светящемся кругу,
Влачась подавленно с попойки,
Скелеты елок на снегу,
Ночное пиршество помойки...
Останки прожитых вещей,
А под мерцающим каркасом -
Компот осклизлых овощей,
Кровосмешенье рыбы с мясом;
Меню, прилипшее к бокам
Кота, что был комочком рыжим,
И вздрогнешь: черви по рукам
Ползут к запястьям...
 отвори же...

* * *

Фотохудожнику В. Иосельзону

Восхитительных луж и обшарпанных стен,
И сквозных достоевских дворов
Нам достанет на жизнь, и потом, и за тем
Тупиком запредельных даров...
Голубой скорлупой отлетающий хруст,
Утлой лодочкой тонущий след...
Если с детства гнетет априорная грусть
Ни при чем эмпирический свет.
Ни при чем наших гнезд коммунальный галдеж
И нависшие гробики птиц...
Продолжением сна после смены идешь
Мимо тихих расплывчатых лиц...
Ты какую зарницу подсек, браконьер ,
Хвост на память, а сущее - спас?
Это гетовский спектр, феномен Паркинье,
Золотой и сиреневый спазм.
Это легкий снежок на лету сентября,
Опыляет анод и катод...
Да обрящет искусство бежать от себя
Крылья радуг в ячейках пустот...

* * *

Ну что, народники, жалевающие народ
На посмеяние народу...
Смотрите, как улучшил их породу
Руля истории скрипучий поворот...
Откормлены. Обучены зевать
Прикрывши рот. Не плюхаться в кровать,
Не ублажив себя шампунями до пяток...
Не губернатор: целишься в живот,
А он простит...
Взроптавшего народ -
В Сибирь с женой и выводком ребяток...
Не террорист (какой там террорист...)
Перевелись, а, может, подлечились...
Читал не то. Глаза не тем лучились.
С заглавной Бога выводил на лист...
Ну что, народники, листовками соря,
Не знали вы, куда ведет крамола ,
Что правде лучше уж наложницей царя,
Чем проституткой комсомола...
Мужик хитер: в телегу под хмельком,
Интеллигент - по пояс в бездорожье...
... Они ошибки ваши подытожат,
Как вдруг, разжалобясь, поили молоком...
Ну что, народники, все квиты и равны,
Вы защищали их, их дети - рефераты
О том, как были вы смешны и виноваты,
И кровью кашляли, и смысла лишены...

* * *

как волхвы над колыбелью под звездой ритуальной
наклонились над культурой три марксиста, дарвин, павлов
и мичурин, к ним присохший черенком корявым сбоку,
и все вместе дружно шепчут, что сознание вторично...
и с тех пор в гнезде трагедий раздается визг пародий,
превращая понемногу человека в обезьяну...
и художник у распятия слезы слюнками глотая,
подтверждает безусловность безнадежного рефлекса...

* * *

Пора простить себе потерянный покой,
А, значит, и другим спокойствие и сухость.
Вздохнуть до позвонков.
И на исходе суток
Махнуть на все рукой,
А не крылом. И лечь.
Нахлынет потолок.
Подкожная тоска, и давняя, и эта...
Как, вспыхнув, медальон защелкивал глоток,
Вобрать глазами прядь слабеющего света...
Прощание с числом. Черемуховый шок.
На взлетной жести крыш - подрагиванье капель.
И душит воротник. И вглубь забитый кашель.
И режет русла вен потертый ремешок...

. * * *

· Г.С.Семёнову

Эти черточки, точки, черты
Грустной Родины...

Взгляд запрокиньте:

Крылья чаечьи -
черные рты,
Что размножены на ротапринте.
И оберточный серый туман
(Изомнется, пропитанный влагой)
Это все - нелегальный роман,
Осужденный остаться бумагой...

* * *

Июльский город - рай полупустой...
Прозрачный воздух. сочные газоны.
Я здесь живу. И утренние звоны
Едва слышны, как будто за чертой...
Я здесь встаю по шелесту души,
По всплеску сини в невское надгробье,
О чем еще?.. След времени над бровью
Красноречивей, что ни напиши...
Кто на море, кто за море, кто в прах..
И я не здесь, а где-то между ними,
Где помнят слезы, где ласкают имя,
как родинку, запрятанную в пах...

* * *

Двуглавый золотой матриархат,
Железная рука Екатерины.
На плац, герой! Накатаны перины...
(Посмотрим, кто ты: маршал иль солдат...)

Подумать, как России повезло
В тенетах сексуального улова...
А если б в те же сети - не Орлова,
А индюку - державное крыло?!

Спасибо, граф, что одержали верх
И воцарились в нашем будуаре...
(Турецкий флот плывет в ночном кошмаре
И над Невой справляет фейерверк...)

Да мы должны молиться на судьбу
В Чесменской сказке, в шторах Эрмитажа!..
Я графский жезл поставила бы даже
Подстать Александрийскому столпу, -

Вот славный штык... Он с честью одолел
Самодержавье женщины у власти...
(Где ордена на грудь - по сходной страсти
И Акатуй - как чтоб ты околел...)

* * *

Чудес не бывает. Не сядет на шпиль самолет.
И блик мотылька опростается кислой тряпицей,
Бесплодная слизь... И чему не дано - не случится.
И ляжет на жизнь затяжной бронированный лед.
Сезонность печалей - не каверзность календаря.
Приметы погоды - унылая дань суесловью.
Что пишем не кровью смущаются критики зря,
Вот именно ею, густой регулярною кровью...
Нечистой и честной. На свой - расчлененный аршин.
Танцующий циркуль - отросток свечи поминальной.
И трепет струится по впадине между вершин
Горячий, как воск, и банально-экзистенциальный...
Застынет мгновенье. Затянется белый рубец
Не солнцем, но тучей. Обыденно и безвозвратно.
А листья? А снег? Это памяти заспанной пятна,
Осадки творенья.. И чудо судьбы, наконец!

МОИ СОВРЕМЕННОИКИ
(венки сонетов)

Летучих рифм целительные жала
И тоньше, и изысканнее яд.
Но вся Россия пела Окуджаву,
А что ей Шварц, Кривулин или я?..
Что ей с того, что слез изящны блески,
Что изощрен творительный падеж...
Не рождество у елочек кремлевских,
А лишь реанимация надежд,
И слишком поздно, век затихнет скоро...
И каждый, за свою схватившись боль,
Поймет: не сор мы - сон, мы сонм и город,
Но не Россия... Призрачная роль...

О нас напишут, ведаю заранее:
Бескровны жизнь и смерть на поле брани.

Бескровны жизнь и смерть на поле брани
Бездарностей... Есть способ удавить
Еще верней: похоронить заранее,
Из поля зренья жестом удалить:
Кого бранить? Кто помнит имена их?..
Всех поглотила черная дыра...
А те, что все же слышали и знают,
Иудин доллар ждут из-за бугра...
Нет, не валюта валидол в аптеке
Наш гонорар... Несносен наш союз.
Но в Эрмитаже и в библиотеке
Слагался он под сенью грустных муз...

Жрецы искусств, а пили в ресторане ,
О нас напишут, ведаю заранее...

О нас напишут, ведаю заранее,
Немало всякой горькой чепухи...
А правда в том, что мы не на экране,
Не на трибуне верили в стихи;
Не в кассе: сумма прописью - за веру...
... Через решетки слушая синиц,
Мы, эллины, привыкли к интерьеру
Котельных и смиренных больниц...
Спасая мир от мнимой катастрофы,
Кто там крадется тенью по стене?
Держись, Олег (за что ж еще? за строфы...)
Привет Сереже. Помни обо мне...

Мы сон и сонм откуда ж эта боль?

Но не Россия... Призрачная роль.

Но не Россия - призрачная роль
 Постигла нас, как всех, кто похоронен...
 Летим на спиритический пароль
 Пугая холодком потусторонним
 Вертевших стол... Игнатова? Нет, тень...
 А где сама? Вестимо, за границей?
 Да, ваших глаз... И вам на скудный день -
 Явление поэта за страницей...
 Мы где-то там, где нет границ и лет,
 Простите нас, что мы не вездесущи,
 И что о вашей жизни на земле
 Так мало знаем, - занавес опущен...
 И кто-нибудь, рванувший тесный ворот,
 Поймет: не сор мы - сон, мы сонм и город.

Поймет: не сор мы - сон, мы сонм и город.
 Как долгодобытый памятник - гранит...
 Ты Стикс, Нева,.. Здесь каждый был и порот,
 И счастлив в детском счастье Аонид.
 Трезв Ширали, Кривулин безбородый
 Уже пророк, но чуда - не конца...
 Мы шли в народ, и в нас была порода,
 Быть может, от небесного отца...
 И кое-что от Глеба и Давида.
 Ты Стикс, Нева, но грех не без родства...
 Блажен, кто знал: нам тесен мир Эвклида
 Был с первых строк, с ночного озорства.

Кто виноват, что снег проела моль.
 И каждый, за свою схватившись боль...

И каждый, за свою схватившись боль,
 Не слышит даже стонущего рядом.
 И корчится. И сыпет в рану соль.
 И соты мозга наполняет ядом.
 Да, пессимизм, да эгоизм. Да, так.
 Кто не бессмертен тот не безупречен,
 О чем и стонем... А больничный мак
 На белизне - как там, на Черной речке...
 Дантес - француз, а нас - не чужаки...
 (Что из того, что Аронзон - не Пушкин...)
 О, как улыбки щерили клыки
 В незнавших, что приблизились к кормушкам.

Давно ясна причина приговора,

Но слишком поздно: век затихнет скоро...

Но слишком поздно: век затихнет скоро,
Скользнут на дно медузы метастаз...
Не мы его надежда и опора,
Не мы ему предстанем в смертный час.
И нам не он: воинственный, хвастливый,
Забывчивый... Но счета ни при чем.
Он тоже был доверчивый, счастливый;
И столь же глух. И так же обречен.
Хвала ему, что лось берет мякину
Из рук ребенка, что не все - металл,
Что Королев Гагарина закинул
Туда, где миф младенцем пролетал...

Нет синевы синей прощальных вежд.
И лишь реанимация надежд...

Аминь, реанимация надежд,
Здесь о венок споткнется неотложка...
Осколки ампул. Карканье невежд.
Латынь. Священник. Детская галошка...
Ну вот и все, сердца сгорели, в нас
“Остался только пепел...” Это Дудин
О той, где выжил... Нет, не на Парнас,
На Южное, туда подъем не труден.
Объедем город - праздник задарма...
Не унывайте, сфинксы и атланты!
Как хорошо, что все-таки зима,
И в желтых окнах - юные таланты!

Пусть щеголяют в Логоса обносках, -
Не Рождество у елочек кремлевских...

Не Рождество у елочек кремлевских:
Комки об крышку - круглые слова...
Мы будем снова в тихих отголосках
На Троицу, когда взойдет трава...
Что опыт ваш... Мы Клио пережили,
Ценили хлеб - блокадники культур...
И не стоянки - Музу сторожили
От наглецов с набором партитур.
И не спасли, забылись сном мертвецким.
Рассудит Бог, судьба или вина...
Да, вы - с фашизмом, с варварством немецким,
А с вашим - мы... Священная война...

Что сытым вам, в тщеславии одежд,
Что изощрен творительный падеж...

Что изощрен творительный падеж
Уже ежу и критику понятно ,
Алле, творец, - извольте на манеж!
Лицо под грим, в бессонницах помято.
Земля кругла и запах цирковой...
Да нет, увольте, трупы - не паяцы.
И Мандельштам качает головой,
Под колпаком приученной бояться...
Умнейте, перестраивайте строй,
Для вас иконки наши - не помеха,
И нас уж нет... На первый и второй
Вся перестройка... Цирк дрожит от смеха!

Россия... Рожь... Сиротские полосы...
Что ей с того, что слез изящны блески...

Что ей с того, что слез изящны блески,
Что мы как боги знаем ремесло;
А ей нужны горшки, и не березки, -
А доски. Дождь. И новое весло.
Как дышит склон, морщинистый, пологий,
Но дышит, но вздымается к весне!
Зачем вдове профессор патологий:
Живой мужик - и счастлива вполне.
Мы Фрейда с детской робостью просили,
Нас обжигали Гегель и псалмы.
И хоть в Сайгоне пили, но Россию
(На книгу руку) пропили не мы...

Вот потянулась... Ищет соловья...
А что ей Шварц, Кривулин или я?

А что ей Шварц, Кривулин или я,
Пудовкина, Охапкин, Куприянов,
Миронов... Каждый сам себе семья:
Сосуд пороков и певец изъянов...
Что ж, каждому свое... Ворота в ад
И мне маячат... Если станет страшно -
Шприц, морфий , - и нахлынет Ленинград;
Наш нищий рай, наш черствый снег вчерашний,
Воспетый (нынче шамкать и молчать)
До всех святынь, искривленных в каналах.
И если вас отметила печать,
Нас - дерево декабрьское в кораллах.

И вещий кот на крышке бака ржавой...
 Но вся Россия пела Окуджаву...

Но вся Россия пела Окуджаву,
 Высоцкого, запретам вопреки.
 Хрипела страсть, будящая державу,
 Вдыхал Булат - смолкали остряки...
 Есть голос крови.
 Голос поколенья.
 И вопиющий глас. И голоса...
 Мне голос был: поэты как поленья
 Трещат в печи, а истина - боса.
 Кто горемычней значит ли - мудрее?
 Пусть этот вял, а тот вторично лих,
 Скажу, вздохнув, как Белла про Андрея:
 А я люблю товарищей моих...

В плену Харит, в компании Наяд
 И тоньше, и изысканнее яд...

И тоньше, и изысканнее яд,
 Искуснее пчелиное барокко ...
 О, Летний сад, безлюдный Летний сад,
 Ты так притих, как будто ждешь пророка...
 Мы тени тех, самих себя, прости...
 Плюскамперфект уютней, чем футурум.
 Хотя бы мрамор вылечи, срасти,
 Не подпускай безбожников к скульптурам!
 Мелеет лоб - как не было чела...
 И не от крыльев колет под лопаткой.
 А надо мной вальсирует пчела:
 Нашла цветочек с родственной повадкой...

И сжалась жизнь. И, сжавшись, не сдержала
 Летучих рифм целительные жала...

РЕМИНЕСЦЕНТНОЕ

Не дай-то Бог, чтобы к штыку...
К щиту, - и то унижить Слово,
И муки светлые в муку
Перемолоть для нужд столовой.
Не пропадет наш скорбный труд:
На нем и так повеселятся,
И Серафима перельют
На шестикрылый вентилятор.
И пусть обрушатся леса,
И до слепого небосклона
Стригучих просек полоса
Грозит бессилием Самсона ;
Одно бы только уберечь
Как в детском дворницком атасе:
Почти фазическую речь,
Почти физический катарсис...
А в Прометеи - чур, меня!..
Уж лучше сдохнуть от цирроза,
Чем узреть: тлеет целлюлоза
И смысл - Божественный - огня...

* * *

Мать и мачеха, Родина, мощной шеренгой - дубы...
Я, подвальный росток, задыхаюсь и кашляю кровью.
Лучшей доли не жду и другой не представлю судьбы.
И окошко в снегу - чистый белый билет к нездоровью...
Пусть, взлелеяны солнцем твоим, за тебя постоят
Им завещаны земли и дадено благословенье...
Я ж - подвальный росток, мой приятель - сорняк пастернак,
И отпущено мне только это святое мгновение:
Только белая каторга, пахота мерзлых листов
Да ущербной луны замогильная полуулыбка...
В этой жизни фламандской нам, слава те, нету местов,
Как в столовой, где ночью бифштексам сопутствует скрипка...
Мать и мачеха, Родина, клетки - этаж к этажу...
И подвальный росток преклонился в твоём изголовье...
Но из блещущих строк я кольчуги себе не свяжу,
Дабы сброд насмеялся над нашей расплевой кровью.

* * *

Мечтала хоть час посидеть одиноко у моря:
Пусть ветер-пройдоха докурит мою сигарету...
Забуть об удаче, ее подноготном позоре,
Лицо обращая к молитвенно-лунному свету.
Но вот уже вечер, а солнце являет с усмешкой
В блистательной пене - навыворот мутные складки:
Прощайся с Россией, довольно метаться, не мешкай,
Здесь все с подоплекой и каждый - в бессмысленной схватке.
Я знаю, я помню, я вижу, что я погибаю,
Таскаясь на службу, бряцая на кухне посудой.
Но снова конверты далеким друзьям загибаю
С ответом "не знаю...", и знаю, что смертна повсюду.
И так ли уж важно, затопчут в какой заварухе,
Какой вертухай не оделит живительным хлебом,
Не все ли равно сорокапятилетней старухе,
Не видевшей стран, но якшавшийся с морем и небом...

Из заметок на полях, где растут Подземные цветы Ольги Бешенковской

В начале был топор, подобный петровскому лекалу... Ржавый, с зазубринами от многолетнего употребления, кое-где затупившийся, но тем не менее сохранявший в наших глазах угрожающее сходство с орудием казни из фильма Сергея Эйзенштейна об Иване Грозном; действующий топор политико-эстетической госцензуры был занесен над этими стихами еще до их появления на свет.

... Они выжили, вышли победителями из жестоких предродовых схваток, и теперь эти стихи звучат как апофеоз былой творческой боли и олимпийски шествуют по нынешним многочисленным русским журналам, неся на бледных и изможденных лицах своих отсветы багровой бойлерной мглы ...

Виктор Кривулин, поэт (Санкт-Петербург. 1996)

УЛ. РУБИНШТЕЙНА, 36
Дом рождения Мандельштама
Я топила четыре года,
И не видела там таблички
«Дом рождения Мандельштама»...
(Ох, не зря эта рифма — «яма»...)
Но меняется и погода,
Даже в пасмурном Ленинграде...
Будет, будет у Вас табличка,
Подождите же, Бога ради,
Не горюйте, Осип Эмильич.
Терпеливей русских поэтов
Никого, верно, в мире нету,
Что особенно верно — к трупам
Применительно.

К ржавым трубам
Здесь склонялась я, крыла вентиль,
Рисовала в блокноте вензель...
Поколение кочегаров
Уважало Вас за желёзки,
Не «Икарусов», а Икаров
Современника.

Здесь железки
На помойке. — Остов ракеты?
Не припомню: моей ли? Вашей?
Будем рядом висеть, — поэты
Над кошачьей мерзлой парашей.
Только мне еще ждать кончины,
А потом уж — доски на двери...
Ничего. Мы, женомужчины
(Род — советский...), умеем верить.
Будут, будут наш дом с котельной
Словно крестик беречь нательный..

А пока он известен тем, что
Из окна здесь выпал
ребенок,
И родителей не утешить:
Пьют как пили... Только
спросонок
Часто спрашивают прохожих
(И меня вот спросили тоже):
«Кто ж разбился: Васек ли?
Вовка?..»
Вот и все... Продолжать —
неловко...

1983

НА ПАДЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ БУДКИ
У КОНЦЕРТНОГО КОМПЛЕКСА

Телефонная будка лежит на боку,
А вокруг — золотеет листва...
Я давно перед лирикой тихой в долгу,
По законам ночного родства.

Чьи, не знаю, поклонники или враги
Опрокинули этот сосуд...
Ах, как сладко в листве замирают шаги,
Будто облачко в луже пасут...
Мой заплеванный город еще величав,
После митингов темен и тих.
Надоела сумбурная правда в речах
И рекламно-ораторский стих.
Перевернутый комплекс и смысл бытия
Отражаются наоборот...
Никого не виню, — ведь и я, ведь и я —
Перевернутый этот народ...
Скоро, вышвырнув Ленина, мощи Каплан
Освятим и внесем в мавзолей...
(Как легко грандиозный угадывать план
И как трудно — язык тополей...)
Телефонная будка лежит на боку.
Стекла выбиты. Порвана связь.
А смешной паучок все ползет к потолку,
Созидая дрожащую вязь...
1990

8. «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛИМАТ ЛЕНИНБУРГА». ЭССЕ И ВОСПОМИНАНИЯ.

Пунктирная

дружба

Библейская борода пыхла капитанской трубкой в редакции заводских раз-в-недельных известий. Дым сгущался, астматическое клокотание становилось все яростней, а не замечавший симптомов негодования рабочий-поэт (категория сама по себе несколько странная, но широко распространенная в эпоху госпримитивизма) заливался механическим соловьем...

Когда наконец производственный поток бойких рифм и элементарных сравнений иссяк, «пароход» взорвался:

— Я потерял критерий! Я уже сам не знаю, что хорошо и что плохо! Мне кажется, что все одинаково...

Молодость не сомневается. Искренняя уверенность сообщает солнечную энергию мышцам и мыслям, в сколь бы мрачные и болезненные прострации она ни трансформировалась. Каюсь, я не постигла тогда глубины его печали и равно посмеивалась и над ним, и над уборщицей, которой вместо «критерия» послышалось что-то вроде «портмоне», и она долго сокрушалась, кто же мог взять такую ценную вещь, если в комнате все свои.

...Это было время пустых, звонких фраз. Газета, куда я пришла работать после университета имени Жданова, содержательно называлась «Знамя прогресса».

Еще не зная меня, но, видимо, уже прослышав о Даре, партком обязал начинающего «подручного партии», как Никита Сергеевич назвал журналистов, присутствовать на занятиях литературного объединения — для поддержания порядка. Пустили козу в огород... Давид Яковлевич сразу же предложил мне почитать что-то свое, он вообще не представлял, что могут быть люди, стихов не пишущие.

Рецензия прервала первое же стихотворение на полуслове:

— Какая очаровательная антисоветчина!

Забегая вперед, скажу, что меня по рекомендации КГБ уволили раньше, чем моего «подопечного». И что такой комплимент для поэзии я считала и считаю довольно сомнительным. Так о некрасивой женщине иногда говорят: «Зато какая умная!» А поэт прежде всего прекрасен. «Прекрасный поэт...»

Но с этого дня началась наша, как он определил значительно позже, уже в письме из Иерусалима, «пунктирная дружба». Пылкая, но с частыми и порой длительными перерывами. Нет, мы никогда не ссорились, но я время от времени эгоистично уходила — то в себя, то в сверстников, то к Семенову, не такому прямолинейному, говорящему полунамеками, из которых вырастала большая правда.

Вообще, когда нас называют потерянным поколением и жалостливо протягивают запоздалые погребушки известности, я думаю, что не такие уж мы несчастные. Всех нас, кто как-либо выходил за рамки общего русла продрогших ленинградских воробышков, судьба щедро одарила и обогрела Давидом и Глебом. И если Глеб признан (хотя и не познан, ибо у него были, если так можно выразиться, железы внутренней секретности), то Дара мы даже не могли проводить по земле до земли... Известие о смерти, услышанное по «голосам», не дошло до подсознания. Он остался уехавшим, УЛЕТЕВШИМ...

А в памяти горят оранжевые — электрический ток, вспых елочных лампочек — стремительные пунктиры: слова, реплики, встречи. Каждую бы — в целлофан, как новогодний подарок...

— Оля, у вас все еще нет машинки? Я вам обязательно подарю. И вообще поезжайте в Среднюю Азию. Она орнаментальна, как ваши стихи. В Среднюю Азию я поехала, а вот от такого дорогого подарка, разумеется, отказалась.

— Ну и напрасно,— сказал потом Сережа Довлатов.— Я сам знаю лично шесть человек, которым Дар подарил машинки...

— Пожалуйста, сделайте так, чтобы рабочие поэты на ЛИТО не ходили.

— Но как же я могу... ЛИТО ведь именно для них и организовано. И кто же тогда придет?!

— Я. И вы. Я еще своих мальчиков приведу. Милый Г. только что из психушки вышел, наркоман, он вам понравится.

Нет, мне не нравился ни «милый Г.», ни те грязные и заросшие субъекты, которых Дар мне сватал. Он, как экстравагантная журналистика, держался на двух коньках: секс и политика. Скользко...

А мне порой выговаривал:

— Вы слишком нормальная. Зачем Вы всегда говорите правду? Поэт, как разведчик, должен иметь легенду...

Мой развод после нескольких месяцев супружества воспринял как праздник, хотя лично против мужа ничего не имел.

— Дайте я вас поцелую: вы становитесь настоящим поэтом...

— Женщины-поэты не умеют кончать... Вот, посмотрите, как я сокращаю вас и Цветаеву.

На стихах, там, где они кончались, по мнению «старика», как мы его иногда называли (в среднем возрасте он всегда был одновременно и библейским пророком, и наивным ребенком), на стихах не только моих, но и (о, ужас!) Марины Ивановны зияли белые бумажные заплатки...

Большим грехом было его обмануть, но — обманывали.

Мы с Беспалькой прокатывали ночью на такси (куда глаза глядят) только что полученные за что-то премии Союза журналистов. Единственное, что нас оправдывает в последовавшем ночном визите,— это нетрезвый, но благой порыв. У «старика» горел свет... (Как такси оказалось возле его дома, мы не помнили, очевидно, случайно.) Вдруг там «неотложка», надо помочь?

— А я вас не пущу, я вас боюсь,— прошептал в щелочку совершенно здоровый Дар.

Утром звонил обоим, спрашивал, действительно ли это были мы или ему приснилось.

Беспалько сказал, что приснилось, я что-то промямлила, переводя разговор на другую тему, а Дар после жаловался знакомым, что у него начались галлюцинации.

Впрочем, на мою «нормальность» и правдивость он больше не сетовал. И

спустя годы написал: «С удовольствием вспоминаю все наши встречи, кроме той, когда вы с Володей ввалились ко мне ночью совершенно пьяные...»

— Наверно, Кузьминский действительно гениален. Он сегодня читал мне свое стихотворение по телефону — и плакал. Разве может негениальный человек плакать, читая стихи?..

«По телефону»,— мысленно добавила я, но, к счастью, на сей раз ничего не сказала. А вообще не раз ради красного словца портила трепетные мгновения.

Впрочем, чувство юмора он ценил. С беспощадностью к себе героически рассказывал, как, будучи в армии, заслужил пощечину от жены, В. Ф. Пановой:

— Она приехала ко мне в часть, сидим мы с ней на лавочке, а мимо — старший по чину. Я вскочил, одной рукой честь отдаю, а другой...

Веру Федоровну навстречу начальству приподымаю... Вот тут она мне и влепила. Со звоном...

(Представляю, с каким королевским великолепием защитила свою честь Панова.)

Я намеренно не останавливаюсь на сложности их взаимоотношений в последние годы. Это не мое, не наше, вообще ничье дело. Могу только сказать, что в новой квартирке возле метро «Звездная» перед столом висел портрет Веры Федоровны, на который Дар, отвлекаясь от разговора, смотрел почтительно и с той особой нежностью, которой нет иного имени, как даровская...Прямота его была обаятельна, но порой граничила с бестактностью. Я в ту пору занималась и в ЛИТО «Нарвская застава», которым руководила Нина Королева. Встретив нас обеих в вестибюле Дома писателя перед началом поэтического вечера. Дар — с порога:

— Оля, зачем вам Нина? У нее же совершенно рыбий темперамент. Она кисло отшутилась насчет притяжения противоположностей, но, умница, не обиделась. На Дара не обижались.

Не обижался и он.

На занятиях руководимого и любимого им ЛИТО «Голос юности», куда он меня однажды затащил (свой голос я уже юным не считала, хотя потом еще долго пришлось ходить в «молодых поэтах»), один мальчик читал светлые, чистые лирические стихи, без новаторских отклонений в форме и болезненных — в содержании. Его тут же подвергли остракизму, и Дар, хоть и без литошно-дотошной ярости учеников, тоже выразил свое определенное недовольство.

— Знаете,— почти кричу,— Давид Яковлевич, нельзя же отрицать как произведение «Ромео и Джульетту» только за то, что там не идет речь о гомосексуалистах.

Ирина Малярова, тоже, видимо, приглашенная, охнула, схватилась за дверной косяк и запричитала:

— Олечка, девочка, да как вы можете?

А Дар, хитровато улыбаясь, уже как ни в чем не бывало подавал мне пальтецо и улавливался о новой встрече.

Он никак не мог понять, что такое коммунальная квартира.

Соседка, держа трубку на вытянутой руке (как будто та может ужалить ее в ухо), с брезгливой гримасой зовет к телефону:

— Там... какая-то гадость... Тебя, наверно...

Оказывается, Дар, не вслушиваясь в ответивший голос, сразу начал читать ей свой «Гимн скотоложеству».

— Оля, вам нужно напечататься в журнале «Евреи в СССР». Охапкин не еврей, и то напечатался.

— А я не хочу, чтобы мои стихи публиковались рядом с рецептом фаршированной рыбы...

Фрондерство мое, как всегда, оказалось неуместно. Впоследствии этот журнал Дару вменили в вину, когда пришлось покинуть пределы Родины.

Мы не виделись месяцами, а прощались... несколько раз на одной последней неделе. И не могли расстаться.

— Я сейчас приеду. Хочу познакомиться и попрощаться с вашим сыном. (Сыну было два месяца.)

Вошел, как всегда, торжественно опираясь на палку и... распугав соседок (их сразу как ветром сдуло из круглого коридора) красноречивым лиловым фингалом под глазом.

— Это мне кто-то на дне рождения у Сосноры, кто — не помню,— доверительно объяснил одной зазевавшейся, разумеется, понятия не имевшей, кто такой Соснора, и тут же опасливо проворчавшей, что сейчас вызовет милицию:

«Ходят тут всякие... хулиганы...»

Муж и друг, сидевшие за столом, были подготовлены ко многому, чего можно ждать от Дара, но даже я сама не представляла, что он так естественно, так бережно, одной рукой утирая внезапную слезу, другой будет держать малыша...

Настоящий классический сентиментальный еврейский дедушка.

Впрочем, Дар и тут остался верен себе. За столом, медленно, со вкусом опорожнив пару рюмок, доброжелательно заявил:

— Мне очень нравится ваш новый муж. Но друг нравится еще больше. А вообще вас было бы интересно спарить с Кривулиным...

Второе прощание — у него дома. Он как бы уговаривает себя в необходимости отъезда, хотя выбора нет...

— Я хочу маленького ослика и розовый кустик под окнами!

— Осликов, — говорю, — мы и сами экспортировать можем.

— И еще не хочу умереть на раскладушке в коридоре больницы Ленина. Против этого возразить было нечего. Да и выбора, повторяю, не было тоже. Вспоминаем вздох, торопясь, как стояли в очереди — даже с пригласительными билетами — на выставку авангардистов во Дворец культуры им. Газа. Что-то еще будет, но его здесь уже не будет...

Кто-то из ребят принес справку из жилконторы, выданную «для отъезда в город Израиль». Пришлось бежать обратно, переделывать.

И он не сердился, не нервничал, что было бы вполне понятно в предотъездной суматохе, а как будто уже оттуда, издалека, ностальгически улыбался: «Без этого у нас не бывает...»

Короткий, незнакомый звонок в дверь. За дверью — гулкая пустота лестничной клетки. Только на деревянной доске, возле квартиры, каравай хлеба, накрытый полотенцем с вышивкой «Еврею Давиду Дару от благодарного русского народа».

Телефон...

— Ну и что, больше веса и не будет. Только машинка, кальсоны и стихи ребят... Как зачем там кальсоны и стихи? А что же еще надо?

Когда мы прощались уже в самый, самый, самый последний раз, позвонил Семенов.

— Рад буду вас видеть, Глеб Сергеевич. Если только Оля Бешенковская не возражает, сейчас спрошу...

Я обмерла, зная самолюбие Глеба. Никому другому он бы этого не простил. Но, видимо, и он привык, что Дар ко всем нам относится с подчеркнутым уважением. Приехал.

И тут случилось то, что во многом определило мою жизнь на последующие десять лет.

Дар вынул из шкафа папку с моими стихами.

— Ну что ж, Глеб Сергеевич, увезу-ка я Олю с собой, там и напечатаю.

Он, видимо, слегка поддразнивал.

— Нет, — потянул папку на себя Семенов, — надеюсь, мы ее все-таки здесь будем печатать, я сам отнесу в «Неву»...

Не знаю, что тут со мной случилось, вряд ли я сразу поняла, что не хочу ни в антисоветские, ни в официальные (того времени) поэты, скорее всего просто выиграла самостоятельность характера (что это они за меня решают!), а главное, боялась обидеть кого-либо из них, почти равно любимых.

Протянула руку — и цап!

— Нигде я печататься не буду, пусть все лежит у меня.

Так и пролежало до 1987 года, вырастая в синайскую гору неопубликованного на родном, привычном, нежно любимом болоте...

А Дар попросил написать от руки посвященное ему стихотворение — в рукописи, сказали, можно провезти открыто. Но и его отобрали на таможне.

К турникету я опоздала. Нас было много, все мы что-то кричали, но он нас уже не слышал. Кажется, вытирал слезы. Я успела это заметить, когда Леша Любегин поднял меня на гипсе, на сломанной руке, над толпой — проводить Дара глазами...

А потом — только письма... Они приходили в разрезанном виде, и — бедная наша девственная цензура — в них почти не было цензурных слов. Правда, теперь уже по поводу тамошней жизни.

Дар писал, что весь мир — публичный дом, что ему стыдно принимать местных поэтов в трусах, которые здесь называют шортами, что он биологически необучаем языку и ходит в магазин с толстым словарем. И еще, что можно объездить всю Европу, но нигде не найти «таких собеседников, как вы и милый Саша К.». Полностью он фамилию не писал — боялся подвести Кушнера.

И мы, Давид Яковлевич, пройдя и пролетев сквозь годы, не встретили такого человека, как вы. Ибо нет больше в мире такой библейской бороды с капитанской трубкой, такого добрейшего пирата в море литературы...

1992

Д. Я. ДАРУ

Я люблюсь талантом раскуривать старую трубку
В хрупкой новой квартирке,
где некому прибираться...

Так раскуривать трубку,
что комната кажется рубкой
Романтической шхуны
и немножко пиратской...

И качается пол,
и похмельная тяжесть в затылке,
И щербатая плоскость стола
под локтями поката.

И настоль неуместен
кефир в запотевшей бутылке,
Что она наполняется ромом заката.
Не маститый — бывалый.

И только одна неувязка:

Не хватает повязки от виска и до уха...
Но в дремучем дыму я уже различаю повязку:
От надежды слепой —
до пространства,
которое глухо.

Я люблюсь талантом не видеть
стремительных стрелок,
Ощувив обнаженную молодую
страницу...

И когда он бранится:
«Герой Ваш сознательно мелок»,
Улыбаюсь,
любуюсь талантом браниться.

И свистят паруса.
И наградой кажется кара.
И лохматые юнги

уходят в поэты,
Даже если у них
никакого и не было Дара —
Только этот...

1972

РЫЦАРИ ДУХА

Меня всегда любили старики
 Не за мою ль безвременную старость?
 За страсть свою. За острый взмах руки.
 За горький вздох — мол, что еще осталось —
 Меня всегда любили старики.

Не бережем их, ох, не бережем...
 И семенит судьбы благодаренье.
 Шурша в каком-то странном измеренье
 Так глухо, будто ниже этажом...

О, мамонты! О, дух перевести'
 (Ваш мощный Дух — на мелочные всплески...)
 Как серафимы вьются занавески,
 И мотылька от лампы не спасти.
 Не убережь...

Ухолят старики...
 В цветах костнеет маленькое тело.
 И, как туман светающей реки,
 Клубтся пыль судьбы осиротелой...

Этим стихотворением я когда-то угрюмо предвосхитила прощание с Глебом Сергеевичем Семеновым: другом, поэтом, педагогом. Мне кажется, что мерцательно чистая, с благородно-горьковатым привкусом ленинградская культура была настроена именно на соприкосновение нашего, призрачного — до поры - поколения с ностальгической печалью ровесников вульгарного века. Они любили нас, шумных лирических внуков, больше, чем уже уgomонившихся, солидных, портфеленосных детей. Мы не были скованы ни стальным сталинским страхом, ни брежневской («береженого Бог бережет») суеверной осторожностью. История только начиналась для нас, и не с коммунистических прописей, а с похеренных в запасниках летописей, с А и Б: Адама и Библии. Они же это с тайным упрямством не забывали... Мы находили друг в друге единомышленников.

В Германии, пережившей не меньше мистических потрясений, отношения поколений не согреты таким теплом ученичества. Понятие потерянной генерации существует и относится здесь к людям примерно нашей возраста и мироощущения, но они, наши двоюродные братья, презирая сладкую фальшь и душистую пошлость бюргерских вкусов, зачастую эпатируют почтенную публику элементарной невоспитанностью своих. С гармонией, которая всегда аристократична, у опьяненных демократией разночинцев отношения и в прошлом столетии как-то не получались...

Видимо, немецких послевоенных вундеркиндов (и это можно понять) так страшит и совестит тень свастики, что они шарахаются от нее хоть под серп с молотом. А по пути совершают историческую ошибку: чураясь родных погостов, забывая навешать доживающих свой век де;юв.

Да и «деды», здесь так прохладно обособлены, так профессионально эгоистичны, что теряется трепещущая связь времен, а, значит, - в чем-то — и духовный смысл бытия...

Иногда меня приглашает на чашку янтарного — сквозь тонкий фарфор — чаю 80-летний профессор Ганс Шуман. Встречает на пороге своего необитаемого - почти — замка. всегда в темном костюме, слепящей сорочке, при — под самое горло — крупным узлом-углом галстук.

С моего плебейского гольфа стекает липкий июльский пот. Его чело уже как бы мраморное...

Скрипят паркет, пахнет мастикой и детством (это тебе не серые мышастые тепихи, распластанные по всей Германии — практично и дешево). Отделяются от стен могучие тени: Томас Манн. Вагнер... Профессор угощает забавными историями о Гегеле; на немецком — языке философии — эти научные деликатесы еще пикантнее. (Студент: Господин Гегель. извините, но Ваша теория расходится с фактами. — Ну что ж. Тем хуже для фактов...); рассказывает о курьезной постановке «Вишневого сада» в Мюнхенском театре. Старинный русский обычай режиссер прочел слишком буквально, ремарка «Сядь на чемоданы и минуту молчи», обернувшись выволакиванием на сцену дорожных сундуков чеховской поры и ровно 60-секундным (с немецкой педантичностью) заседанием актеров на сцене. Наконец, кто-то из зала крикнул: «Позор, они забыли свои роли!»...

Ганс Шуман — специалист в немецко-русской истории. Он и сейчас ориентируется по памяти в будуаре нашей общей Екатерины не хуже, чем это делал когда-то граф Орлов... Пишет, вернее, дописывает свои книги. Иногда — обедает у бургомистра. Иногда навещает дочь в ее неблизком замужестве...

- А студенты, молодые писатели, художники, историки — у Вас бывают? — спросила я как-то с наивной надеждой.

- Я же не преподаю, — недоуменно ответил профессор. — Да и, — добавил вдруг не без надменной горечи, — кому из молодых все это интересно...

А я вспоминаю, как обрушила все свои 10 стихотомов на хрупкого, щуплого Андриана Владимировича Македонова, наделенного большой и негибкой личностью.

Еще Твардовский в их студенческие смоленские годы нарек университетского друга «Сократом». Прозвище прижилось, оно зафиксировало высокий лоб, в котором всегда теснились не суетные, укрупняющие явление мысли.

Когда на Твардовского легло клеймо «кулацкого поэта», именно Македонов завалил гневными письмами все влиятельные газеты. И, конечно, добился... Безграмотная власть всегда считала, что российским Сократам климат Крайнего Севера подходит больше...

Ссылный Македонов неожиданно для себя заинтересовался камнями, учась у них терпению и молчанию.

- Понимаете, — говорил он мне, уже давно доктор геологических наук (в филологические генералы и не стремился), — геологию нельзя обмануть. Даже КПСС бессильна назвать известняк как-либо иначе.

Я смотрела в его голубые, незамутненные двоединомыслием, всегда любопытные до всего на свете глаза и немного обижалась на не слишком

любезную поначалу супругу, которая явно ревновала его, их время — к нашему. Она-таки оказалась права. Потому что Андриан Владимирович всегда искал приключений на свою седую голову. В его академической книге, посвященной русской поэзии, впервые в Ленинграде вошли наши имена... А до обломков самовластья было еще далеко...

И поневоле спрашиваешь себя: а вмешались бы здесь остепененные коллеги в чью-то еще не сложившуюся судьбу, рискуя своим личным благополучием? В экстремальной политической ситуации — допускаю. В вялотекущей повседневности — вряд ли. Как не клеймят позором, но и не поднимают с асфальта бездомных безработных. Их просто не замечают.

Пожалуй, здесь было бы вопиющей невежливостью и нарушением демократии обратиться не в газету, а прямо, прилюдно, к оратору, одному из новоявленных зоологических патриотов:

- Стыдно, молодой человек. То, что вы говорите, — подло. А пост-80-летний Македонов в пост-коммунистическом Питере именно так и отреагировал.

И Тамара Юрьевна Хмельницкая, тоже литературовед, тоже уже вся сморщенная, подпрыгнула на своем детском ботике и сверкнула на него влюбленно: «О, рыцарь духа...»

Не хочу делать никаких патетических выводов, ни о менталитете, ни о капитализме, ни о пересекающихся исторических параллелях.

Просто помяну добрым благодарным словом тех, кто как мог излучал тихий петербургский свет в городе Ленина: Лидию Яковлевну Гинзбург, Татьяну Григорьевну Гнедич, Глеба Сергеевича Семенова. Они не были ни борцами, ни храбрецами. но они сохранили ясный разум в духовном дурдоме, гордость породы в идеологическом бардаке, человеческий словарь — под аббревиатурами новояза...

1994

ЭТЮДЫ О МУЖЕСТВЕ

...Чем долее живу я на свете, тем менее уверенно сужу о самых простых вещах. Такое ощущение, что у меня, как у пчелы, кружащейся над цветком, глаз растрескался на множество фасет, и, если его положить под микроскоп, окажется, что он полностью отражает (выражает...) шестиугольные сотовые ячейки...

Казалось бы, что, например, непонятного в понятии, именуем храбростью, мужеством, отвагой, в конечном счёте, - подвигом? Любой русский (точней: россиянин) назовёт и Александра Матросова, и Алексея Мересьева, и другие символы, почерпнутые из советской истории. Или, кто пообразованней, из римской. Дело вовсе не в том, что я давно живу в Германии. Я не отношусь к тем людям, которые меняют свои нравственные ориентиры в зависимости от окружающей среды, моё отношение к той войне здесь не изменилось ни на йоту. Точнее, изменилось, но как бы в обратную сторону: там вызывала протест советская пропаганда, оглупляющая образ врага, а с ним вместе — и духовно великую державу, каковой всегда была для меня Германия, Германия философов, романтиков, экспрессионистов. Там я постоянно напоминала в стихах и прозе, что Гитлер — всего лишь позорный и трагический эпизод в её многовековой истории. Здесь же я частичку «лишь» убираю... Ибо она очень удобна для желающих оправдать и забыть мировую бойню и Холокост, перевалить вину за всё это с Германии на кого угодно, на ту же многострадальную Россию, которой и собственных грехов хватает, исказить историю, в которой сослагательного наклонения быть просто не может... Кто начал войну — тот её и начал, история — не видеокассета, её задом наперёд не перекрутишь... Интересно, что идея эта, - подготовка к войне именно России, почерпнутая из бойких книжек «не-полководца» Суворова — немецких газет иммигранты, как правило, не читают - находит у них едва ли не радостное понимание и одобрение, ибо косвенно подтверждает правоту их отъезда из неизлечимо лгавшей и продолжающей лгать страны. О том же, что, попади они, евреи, в Германию в то роковое время, сейчас бы они так, вернее, скорее всего, вообще никак бы не рассуждали, они почему-то не задумываются... Неисправимо советские люди привычно одобряют страну, в которой живут. (Независимо от того, как эта страна называется и по каким законам живёт...) И более того. Стараются морально служить и угождать режиму, даже если он этого совершенно не требует...

Скажем, мои немецкие друзья, если разговор вдруг спотыкается об эту, болезненную для них, тему, чувствуют себя неловко, стесняются портретов родственников с кайзеровскими «крестами» во всю грудь... А, например, один врач - я акцентирую - врач, иммигрант из России, человек, на мой взгляд, к тому же, далеко не безнравственный и не глупый, - недавно походя, но уверенно, в моём присутствии заявил, что Зоя Космодемьянская была -всего- навсего - элементарной шизофреничкой... (Попробовал бы он утверждать это там, да ещё в исторически совсем недавнее время... Всё дело в том, что там и тогда сумасшедшими было принято считать, совсем наоборот, дессидентов...)

Ничего элементарного на этом свете нет и быть не может...

Но я думаю, что во все времена и во всех народах случаются люди с как бы врождёнными, безусловными рефлексам риска, противопоставляющие себя или невольно противостоящие любому обществу, его стадным законам. (Или же, бывает и так, совершающие свой подвиг из благородных мотивов, но по сути - всего лишь во имя служения той или иной идеи, впитанной с пропагандой.) Герои они или жертвы? Трудно сказать... Чаще всего, кажется мне, и то, и другое одновременно... К тому же, они подсознательно, может быть, даже биологически ищут зону опасности, чтобы в ней себя реализовать. Как поэт - в стихах...

Кстати, оба эти таланта (назовём это так...) нередко совпадают. Тот же Пушкин, к примеру... Не было бы этой дуэли, наверняка, случилась бы следующая... Он бы всё равно сорвался, наварлся, свёл счёты с пошлым светом, на самом же деле, - просто с жизнью, которая, увы, всегда и везде не так гармонична, как поэзия...

Да и к Пушкину, как говорится, ходить не надо. Достаточно вспомнить, как я сама, гостившая в детстве у тётки в Одессе, выскочила на рельсы почти перед самым красным (успела заметить) лицом трамвая и отскочила, схватив в охапку лохматое чучело - почему-то зазевавшуюся и не реагирующую на приближение шума дворнягу... Помню, как тётка кричала (а из глаз её - слезы), что я всегда была дурой, что у собаки - рефлекс, и что уж она-то под трамвай точно не попадёт... Очевидно, мой рефлекс - спасти - был сильнее. Я же не рассуждала, мне бы тогда и в голову не пришли вполне, кстати, разумные, - из сегодняшних моих знаний и опыта - доводы, что собака может быть старой, слепой, глухой и, к тому же, разбитой параличом...

Идеализм всегда наказуем. Спасённая мною дворняга (а вдруг - насильно? А вдруг это была беспородная, не ссучившаяся Анна Каренина?), очевидно, от неожиданности слишком крепких объятий (мне в тот момент было не до сантиментов...), меня укусила, и тётка, авторитарный врач, насильно поволокла меня на прививку. Вот тут-то я и испугалась. И с того дня я трусила за ней ровно 40, как было предписано, раз, причем, постыдно трусила перед каждым уколом в живот...

Так вот, спрашивается, мужественный ли я человек?

Не знаю. Я верю, высокопарно выражаясь, в независимое от меня самое благородство моих рефлексов, которые никогда не позволяли мне совершить подлость, взять на душу грех предательства, соединиться с линчующей кого-то толпой, унизиться перед властью имущими, и т.д. и т.п. Я спокойна, потому что знаю: в решающую минуту мой организм сработает за меня. (И вовсе не важно, нужен ли мой дурацкий порыв собаке на рельсах...)

Но вот если бы у меня было время порассуждать... О, какие хитроумные отговорки заползли бы в закоулки моих извилин, каких бы прекрасных (бывших и будущих...) глупостей удалось бы избежать, какой бы я была отличницей в школе софистики... И - никогда бы - вообще - никаких поступков... Ни с маленькой, ни с большой буквы... Ибо теоретически я лучше всех дрожащих трусов понимаю, что всё в этой жизни весьма относительно, начиная со знаковых понятий добра и зла -

и кончая социальными (всегда социальными!) формулами героизма и слабости...

Мой отец прошел войну с первого до последнего дня. Я храню все его ордена и медали, и когда-то, в детстве, спрашивала, было ли ему там, на войне (мне это казалось как бы не во времени, а в пространстве - там, на войне...) страшно, и как страшно... Теперь мне почему-то кажется, что большего мужества потребовала от него не жизнь под обстрелами, с её ежеминутной опасностью, ибо так жили все (на миру и смерть красна - народная мудрость...), не многокилометровые перебежки под огнём (тут уже наступала очередь выносливости и рефлексов), взятие не географических - военный термин - высот, а именно нравственной, собственной высоты, в маленьком, сдавшемся на милость победителей немецком городе... Отцовский - комендантский - приказ кормить капитулировавших женщин и детей солдатской кашей не мог пройти незамеченным. Он понимал, на что идёт, но приказа не изменил... (Обвинили - помог фронтовой друг, начальник штаба, свидетель многократно проявленной храбрости - лишь в мягкотелости по отношению к врагу... Весьма мягкое, по тем временам, обвинение... И - слава Богу - мгновенная демобилизация...)

Отец всегда был, в общем-то, тихим человеком, в смысле постижения времени (точнее, советского - брежневского) безвременья прозревал медленно, старательно готовился к своим политинформациям (поручили на работе), но зато, когда многое, и не без моего влияния, стало ему внятн, не постеснялся объявить там же, на политинформации: «Я пришел к выводу, что есть три вида деятельности: умственная, физическая и...идеологическая...»

(Которая, стало быть, ни к той, ни к другой отношения не имеет...)

От поручения тут же освободили. И - опять таки - слава Богу...

(Верующая ли я? Вопрос слишком интимный... Но всегда была фаталисткой...)

Отец же тогда пожал плечами (один из его любимых или просто привычных жестов), вздохнул и пошел записываться на факультет философии при Университете марксизма-ленинизма. Думаю, что преподававший там профессор Кон вполне разделял его точку зрения...

И так в жизни моей, не сказать, что непутёвой, но и «путёвой» не очень, случалось нередко, то есть, получалось совсем наоборот, а не как изначально предполагалось и полагалось... Например, гордилась другом, посаженным советской властью в тюрьму за антисоветчину, писала ему письма, собирала протестующие подписи - перед судом, а он как-то вдруг скис и во всём признался. Причём, признался не только за себя самого, что можно было бы расценивать и как своеобразный мазохистский подвиг, но и за других тоже...

Слишком строго судить не берусь, и не он один так, и «железные революционеры» мне тоже не по душе, какие-то они бесноватые, узколобые, всегда отдающие приоритет классовым ценностям перед общечеловеческими, то есть, - при всём их хвалёном якобы - пишу в кавычках - «свободном» мышлении явно ангажированные тем или иным слоем общества. Как правило, - низким, социально угнетённым, то есть, - народом... Что их, в конечном счёте, и извиняет, хотя никак не оправдывает в непременно сопровождающем победу терроре...

Но что же тогда вообще можно сказать о мужестве как о некой нравственной категории, и по каким критериям, ежели отбросить временные и странные (времени и страны), определять его наличие или отсутствие?..

В постижении этой, конечно же, бесконечной истины, и потому - точнее - лишь в приближении к ней, мне помогли несколько ставших как бы путеводными встреч в жизни, одна из которых - встреча, а потом и дружба с Лидией Яковлевной Гинзбург...

Это был один из подарков судьбы, на которые жизнь моего круга и поколения, при всей своей тусклой - страна и эпоха - мрачности, оказалась невероятно щедрой. Особенно хорошо это понимаешь теперь,

когда наши «старики» безвозвратно ушли туда, где, дай Бог, когда-то опять свидимся, а история, случай и жизнь уготовили мне куда более благополучною, чем у них, старость, но зато в окружении чужих, чуждых и, главное, в большинстве своём совершенно неинтересных людей, обывателей и потребителей, для которых такой уровень разговора понятен не более, чем китайские иероглифы... От меня требуется, отмечаю не без чувства (пусть не «глубокого», как говаривал когда-то шамкающий вождь, но всё же некоего...) удовлетворения, требуется именно мужество, чтобы не замечать ни их самих, ни их мышинной возни, ни их мелкотравчатого тщеславия, ни – даже – их ядовито-ящерной злобы... Словом – просто их существования... И я могу это делать без особых усилий, сидя за своим письменным любимым столом в немецкой провинции, встречаясь и перезваниваясь с немногими близкими по духу друзьями и коллегами, а всё остальное время вдыхая и выдыхая (чужие и собственные) стихи, и вспоминая уроки в ленинградской школе высокого мужества...

Итак, Лидия Яковлевна Гинзбург...

Первое впечатление: величественная старуха, вроде Ахматовой... (Хотя не поэт, а, если так можно выразиться, совсем наоборот, литературовед...) Потом присматриваешься: нет, не совсем так, она вовсе не старается быть величественной, в ней как раз-таки царствует простота, просто сочетание грузного тела, тяжелого медленного шага и немножко как бы скрипучего голоса...

Помню, как она в первый раз объясняла мне, как до неё добраться, торжественным, неторопливым, независимо от того, что произносилось, каким-то кафедральным тоном:

- Значит так, сойдёте, извините за выражение, на Шверника, потом повернёте на Пospelова, пройдёте ещё по кому-то такому же, а там спросите, как выйти на Косыгина...

(Она очень любила свою однокомнатную квартирку, но, Господи, как ужасно всё вокруг называлось в этом просторном зелёном районе, впоследствии я из-за частых визитов к Лидии Яковлевне всё политбюро наизусть знала...И до сих пор, как видите, не забыла...)

Мы вместе спустились к паспортистке в жилконтору (сейчас я пишу эти старые советские слова, от которых давно отвыкла, с едва ли не ностальгическим сентементальным нажимом), паспортистка, ладная, свиду - деревенская деваха, оформляла «на нас» (для нас) желтенькую книжечку единого образца: по найму домработницы, личного шофёра или литературного секретаря, какового Гинзбург, как члену Союза Советских Писателей, иметь не возбранялось... И в скромном качестве коего я, стало быть, и нанималась... Паспортистке, видимо, хотелось сказать пожилой посетительнице что-то приятное, и она непринуждённо осведомилась: «А дедуля-то Ваш как, ещё не помер? Вместе живёте?»

...

«Ка-кой-та-кой-де-ду-ля ?!» торжественно и как-то раздельно, по слогам, возмутилась Лидия Яковлевна; и я сразу поняла, что к мужчинам у неё отношение не слишком лицеприятное, вернее, их в её жизни, скорее всего, не было и, это уж точно, давным-давно нет... (Если они, конечно, не поэты и не литературоведы. То есть, проще говоря, если это не Мандельштам, не Лотман, даже не Саша Кушнер, которого ждала всегда с радостью и нетерпением, то что это вообще за мужчины... Зачем они...)

Может быть, я и ошибаюсь, но ощущение было именно такое.

Ну а какое – вправе спросить внимательный читатель – всё это имеет отношение к мужеству, о котором здесь речь?..

Самое непосредственное. Прежде всего уже потому, что Лидии Яковлевне в этот момент секретарь был столь же необходим, как, скажем, велосипед... Просто ей показали в одном литературном, как тогда говаривалось, доме мои стихи и сказали, что их автора по линии КГБ уволили с работы, а, поскольку все мы жили (уже столько лет...) под впечатлением от суда над «тунеядцем» Иосифом Бродским,

друзьям, коллегам, да и мне самой, честно признаться, было немножко не по себе... (Из всех нас, петербургских поэтов города Ленина, только Серёжа Стратановский ещё как-то удерживался на приличной работе – в Государственной Публичной библиотеке имени беспощадного критика российской рутины, где, кстати, служит и по сей день. У меня же в паспорте, к тому же, стояло «еврейка», а это означало, что даже швабру мне вряд ли доверят в каком-либо, пусть и не излишне бдительном отделе кадров...)

Стихи Лидии Яковлевне понравились, и она мне позвонила. Предложила стать на некоторое время её литературным секретарём. (То есть, по существу, предложила политическое убежище...) Эта возможность обрадовала меня не только по причине социальной если не безопасности, то передышки, тем более, что Боря Лихтенфельд уже нашел для меня курсы кочегаров, которые сам недавно окончил, и договорился там, дальнейшая жизнь ясно вырисовывалась – такая же подземно-подпольная, как у многих друзей-поэтов, но Гинзбург... Сама Гинзбург... Это было приглашение в легенду...

Да так, собственно, и оказалось.

Я, действительно, исполняла кое-какие секретарские обязанности, за что получала от Лидии Яковлевны 20 рублей в час. Мы обе были оказались весьма педантичны и пунктуальны. Я никогда не прекращала работу ни на минуту раньше, а она, расплатившись, обязательно угощала меня кофе, шоколадом, литературными размышлениями... Иногда предлагала почитать новые стихи...

Кстати, если говорить честно, то, имея я тогда хоть какие-то деньги, ну, хоть на хлеб, то это не она, а я должна была бы ей платить за прикосновение к Истории...

Мы – начерно – привели в порядок переписку Лидии Яковлевны, особенно много писем на её пыльных, наверное, никогда ещё не посещаемых антресолях оказалось от Надежды Яковлевны Мандельштам и от коллег- учёных из Тарту. Я раскладывала письма по папкам, классифицировала, а Лидия Яковлевна комментировала, вспоминала...

Кстати сказать, была я в ту пору человеком принципиально далёким от быта, хотя сын уже родился, и даже ходил в детский садик, а ей-то нужна была помощь скорее именно бытовая. (Например, Нонна Слепакова приезжала мыть окна. А мы как-то встретились у Лидии Яковлевны с Леной Шварц, пришли поздравить её с, не помню каким, днём рождения, я – с бутылкой, а Лена – с букетиком укропа... Она предложила нам суп, который ей сварила какая-то знакомая.)

Кажется, именно в тот вечер она спросила, не знаю ли я кого-то, кто может хорошо и недорого сделать ремонт, а также срочно что-то сшить...

«Зачем – искренне удивляюсь – ремонт?...Зачем шить?... Всё вроде бы и так нормально... И стены, и и платье... Это ж Вы, если начать, хлопот не оберётесь...»

« Видите ли – возражает Лидия Яковлевна – то, что в Вашем возрасте нормально, в моём – уже старческая неопрятность...»

С Леной, я думаю, советоваться по таким вопросам было ещё более безнадежно...

Зато очень хорошо помню её большой и торжественный «круглый» юбилей. Справляли его не где-нибудь, а в самой Америке. За университетски длинным, празднично накрытым столом. Правда, за эти столом не было не только нас, что вполне понятно и объяснимо, но и ... самой виновницы торжества. Приглашение к чествованию пришло на адрес Союза писателей, а врач ведомственной поликлиники не дал согласия на поездку, ссылаясь на состояние здоровья «товарища Гинзбург». Откуда же, в таком случае, я «помню»?.. Дело в том, что Союз – в ту пору – ещё советских писателей всё-таки не прошёл мимо юбилея давно уважаемого в мире литературоведа, просто на день рождения Гинзбург в Штаты откомандировали... совсем других людей.

И однажды, когда я принесла Лидии Яковлевне почту (в «мои» дни она вниз не спускалась, была грузной, действительно, часто недомогала, но отнюдь не до такой степени...), она раскрыла большой конверт с фотографиями.

«Посмотрите, пожалуйста, - протянула, налюбовавшись, мне - и, как-то даже удовлетворённо добавила - мне кажется, на моём юбилее они едят икру...»

Кто они, эти «они», я, честно признаюсь, запаматовала. Может, отчасти и потому, что одно уловила точно: виновница торжества на них лично ничуть не сердилась...

Ах, да, так вот, о мужестве...

Наверное, мало кто из людей творческих (а нетворческих – тем более) мог бы с таким философским спокойствием отнестись к этому далеко не безобидному, на мой взгляд, курьёзу. Что ж, может быть, имениннице просто силы воли не хватило с властью схлестнуться?.. Не потому ли никогда не вступала она ни с кем в прямые конфликты и дожила, в конечном счете, до почтенного возраста и даже, уже после так называемой Перестройки, до Государственной премии?..

Какой-то «государственный» страх в Лидии Яковлевне, безусловно, был, затаился еще с тридцатых, с тех пор, как однажды пришлось провести ночь в КПЗ; да и вообще порядочных людей, не страдавших приступами социальной шизофрении, при советской власти просто быть не могло...

Например, ухожу я однажды домой, а Лидия Яковлевна просит :

«Захватите, пожалуйста, с собой эту необыкновенно красивую коробку -(на минуту задержала в руке – жаль расставаться...)- это из-под конфет, конфеты мне из Израля передали. Только – заминка – не выбрасывайте, пожалуйста, в контейнер возле моего дома, и вообще в этом районе...»

Коробка, действительно, была по тем временам, когда даже за сизым, как будто ещё до своего появления на свет вылинявшим, нижним бельём в очереди записывались, необыкновенная. Золотистая, серебристая, выпукло-яркая, словом, сказка... (Сказка о какой-то другой, неведомой нам жизни...) Я эту сказку не на помойку, а сыну домой принесла, он потом ещё с год, не меньше, ею играл... А Лидия Яковлевна, которая, кстати, никогда ничего не забывала, спросила меня в следующий же вторник: «Вы не забыли, выбросили? А куда?...»

Услышав мой откровенный ответ, поёжилась: «Ну ладно, смотрите, напрасно, наверное...»

Я с трудом сдержала улыбку. Это, действительно, было смешно, если учесть, что на самом видном месте, на книжной открытой полке стоял у Лидии Яковлевны Иосиф Бродский, и наш самиздат, и вообще немало всяческой, по тому времени, литературной крамолы...

(Да и обстоятельства моего появления здесь, о которых уже говорилось, отнюдь не свидетельствовали о политической благонадёжности хозяйки квартиры...)

У необыкновенных людей – и слабости необыкновенные. И сила – тоже.

Так получилось, что я оказалась среди первых, если не первой, кто прочел её «Записки блокадного человека». Лидия Яковлевна попросила меня отвезти рукопись в журнал «Нева», а до того, если хочу, с ней ознакомиться.

Я читала ночью – и думала: какой же мужественный талант надо иметь, чтобы так писать на «засюсюканную» в блокадном городе тему... Жесткость, честность, четкость и точность языка, откровенный индивидуализм, эгоизм героя, и ведь это – тоже правда... Другая, тщательно оберегаемая от людей, никогда не проникавшая в ленинградскую печать правда... Та правда, которая куда опасней заморских конфет...

Утром, прежде, чем ехать на Невский 3, в тогда ещё неведомую мне редакцию (время публикаций и дружбы, уже многолетней, с журналом «Нева» пришло позже), позвонила. Говорила взхлёб, бессвязно, восторженно. Лидия Яковлевна слушала, не перебивая, была явно обрадована откликом. Отзывом, как мне кажется, не только моим, личным, но - в моём лице – круга и поколения...

Потом, позже, я поняла, что каждая книга Лидии Яковлевны Гинзбург представляла собой не только событие в литературе, но и настоящий профессиональный подвиг писателя. (Часто – по сути своей – куда больший подвиг, чем наши детские и дерзкие демарши или, тем более, псевдодиссидентские, так называемые, «фиги в кармане» остряков от непрофессиональной литературы...) Ибо в каждой из этих книг её высочество Мысль косвенно вызывала на дуэль толпу общепринятых (косных, пошлых, конъюнктурных) представлений о литературе и жизни. Мысль бросала им вызов, не замечая их, как будто бы их и вовсе не было, хотя были и господствовали в ту пору в «ведческой» науке, как и повсюду, именно они...

Я увезла с собой в Германию все четыре, подаренные Лидией Яковлевной Гинзбург, томика, смотрю на дорогие мне дарственные надписи, перечитываю, вспоминаю...

«Дорогой Ольге Юрьевне Бешенковской в первый день знакомства с пожеланием вдохновения...»

04.09. 82.

«О старом и новом»...

Вот и я о том же...

Всю жизнь...

О старом и новом...

Сейчас вот – об «историзме и структурности» мужества...

2002.

Штуттгарт

КОЛЬЦО ТРИНАДЦАТОГО

Как-то в компании местных любителей славянской словесности одна дама, владеющая русским столь же уверенно, сколь и бесцветно, как все на свете отличники, спросила меня:

— А что это за писатель такой, Сергей Довлатов? Случайно прочла его книжку «Чемодан» и с удовольствием бы перевела...

Да, думаю, теперь бы вы все «с удоволь-

ствием», когда «Чемодан» остался на перроне, а его (вот какой рассеянный, — в Америке позабыть оформить страховку, загнуться в машине «скорой помощи»...) обманчиво грозного роста владелец отбыл с беззащитной улыбкой в страну запредельной популярности...

А тогда на Чугунную улицу, чья окраинность была подчеркнута заржавелыми рельсами, в обшарпанный трехэтажник: «партком — профком — редакция» (вывеска логично сменила предыдущую: красноречивый красный фонарь)

заглядывали только наши активные рабкоры. Клинические, при-
 знаться, люди, работавшие рабочими и страдавшие графоманией. Издателям и читателям было еще не до нас. Ни на Востоке, ни на Западе. На дворе стояли глухонемые семидесятые. Мы тесно служили: пятеро сотрудников в одной камере; для Довлатова даже не оказалось заляпанного лиловым, как морями — глобус, письменного, чернильной эры, стола. Он сидел вдвоем со своим тогдашним приятелем, впоследствии — парторгом Союза писателей Ваней Сабилу, по его собственному выражению, — как в бюст гальтере. Ваня с трудом кропал коротенькие спортивные заметки, поясняя, что он писатель и поэтому ему тяжело... Сергей боролся с похитителями сокровищ из заводской библиотеки:

«Кто вернет нам „Лунный камень" и „Гранатовый браслет"?», а также с пьянством, вдохновенно описывая брожение в завсегдатаях вытрезвителя. Думаю, что его экспертиза была точней милицейской: он-то безошибочно чуял, где «солнцедар», а где «тридцать третий», сколько градусов и сколько стаканов...

В трудно произносимом и столь же бессмысленном названии нашей газетки отразилась футуристическая паранойя советского мышления. Мы были — «Знамя прогресса», но мы были молоды, талантливы, на нас сыпались упреки и премии. Мы были первой газетой в городе, ставшей еженедельником.

Рита Будвницкая превращала свою «Профсоюзную жизнь» в трогательно переживаемую читателями мелодраму. Так бы, наверное, описывала собрания бедная Лиза с одаренностью Карамзина. Геннадий Кабалкин в тихих бухгалтерских нарукавниках рылся в архивах, выкапывая то старого коммуниста, то опознавательный знак публичного дома и передавая время с такой бесстрастностью, что начальство молчало. Собственно, редактор был неплохим человеком, томился рассеянным склерозом, любил медальки и грамоты, к работе почти не прикасался, что означало — не мешал.

Если только партком или кто-то выше гневались, принимал он меры, крутые и глупые, поскольку искренне не понимал, что им от него, а ему от нас — надо...

В мою трудовую вклеил однажды выговор — «за белогвардейские тенденции в материалах». А позже заклеил благодарностью...

Появлялись и исчезали разной интересности сослуживцы, но завершала личный список «ЗП» всегда Люся Краснова, гениальная машинистка, дополнявшая нашу и без того скандальную продукцию своими фрейдистскими опечатками: обжужливающий — вместо «обслуживающий» персонал столовой, автоклуб «За рублем».

Даже на этом не бледном фоне Довлатов крупно выделялся лирической повествовательностью своего юмора, его профессиональным обаянием.

— Вчера моя Глаша (Глаша — его собачка, дочку зовут Катя; Сергей просил не путать, о ком он рассказывает) укусила на пляже критика Н. Далась ей его пятка. Теперь как писателю мне конец...

Ему всегда хотелось превратить редакцию многотиражки в литературный «почта-клуб». Он органически не воспринимал того, что ответственный секретарь Е Бинкин (срослось, произносилось в одно слово, псевдоним Евг. Багров не спасал) называл производственной дисциплиной. Звонок в полдень:

— Понимаешь, стою в тапочках, в телефонной будке, звоню с Гражданки..

— Как фамилия гражданки? — сурово спрашиваю я. Впрочем, на «Гражданский проспект» ни у кого из жителей нашего всегда все-таки «бурга» язык не поворачивался: ни тебе пилястры, ни ангела — какой же это проспект...

Довлатов был как бы шагающим памятником Литейного, частью города, но мне почему-то кажется, что Нью-Йорк шел ему больше: соразмерней и современнее. В маленьком, единственном на нашей улочке, магазинчике, покупали мы что-нибудь на обед — естественно, глушили горький гуталиновый кофе. И Сергей всегда умилял продавщицу изысканием своего заказа

— 50 граммов голландского, нарежьте, пожалуйста. И 25 — масла...

На большее денег у галантного богатыря, как правило, не было.

. Ему вообще как-то не хватало простора в нашей муравьиной действительности, точнее не скажу, мы дружили поверхностно. Друг в друге ценили прежде всего чувство юмора.

Я в свое время наотрез отказалась читать его лагерные рассказы, потому что их автор служил в охране... Пусть в армии, пусть подневольно, но...

Он был старше, терпимее к людям. И, как я однажды выразилась, имея в виду не только его могучий рост, — настолько выше всякой морали, что...

— Есть ситуации, когда нужно быть идиотом, чтобы не украсть, — вещал он из своего «бюстгальтера». Что оскорбляло мой юношеский идеализм. Кстати, однажды он украл у меня целый очерк, вставив его в свою рабочую повесть, заказанную журналом «Нева».

Извинение пришло почтой на листочке в цветочках, что, дескать, аванс был давно получен, истрачен, а редакция требовала отдачи.

Уверена, что, если бы очерк не был опубликован, то есть, если бы в плагиате нельзя было уличить, — он бы и буквы чужой не тронул. В этом и заключается нравственность писателя, которая выше — вашей — морали.

— Гриша, дай я тебя поцелую, каким бы ты был замечательным полицаем в 41 -м, — наклонялся он к мясисто-мордастому редакционному алкашу и антисемиту, чувствовавшему себя по-хозяйски благодаря партбилету и крестьянско-арийскому происхождению.

ЛОМО же наше — Ленинградское оптико-механическое объединение — отличалось от Суэца, как у нас говорили, только отсутствием арабов.

Здесь по-прежнему брали на работу с темным национальным прошлым. Довлатову, например, даже не пришлось настаивать на своем менее преступном армянстве. Его приняли за еврея, но — приняли...

Генеральный директор фирмы был самодуром хрущевской школы. Помню, как вдруг удовлетворил он заявление на квартиру, нацарапанное на тыльной стороне наждачной бумаги. Объяснение слесаря, «Это чтобы Вы с ним в туалет не пошли» — показалось директору убедительным...

Кстати, этот эпизод нашла я и в записных книжках Сергея, в его трехтомнике, ласково иллюстрированном «Митьками».

Откроешь — и журчит катающий гласные баритон. Довлатов ведь был именно рассказчиком, блестящим рассказчиком, если не преуменьшать и не преувеличивать его особое дарование.

Говорят, газета выжимает из писателя соки. Но Довлатов писал все более сочно, и многие его анекдоты выросли из газеты. И я не без радости вспоминаю Чугунную улицу, до которой всех нас вез троллейбус № 13. Там *был*. 6 его кольцо. И никакого другого транспорта. Везение? Невезение?

Мы играли судьбой и словами и за хорошую шутку платили друг другу символический гонорар — 20 копеек. Память не подвластна инфляции. Я храню одну такую монету — персональную премию от Довлатова.

Однажды дала я информацию. «Каждый, кто приобретет следующий номер газеты, получит бесплатно троллейбусную карточку».

— Что же мы теперь будем делать? — рассмеялся Сергей. — На нас же подадут в суд!

— Увидишь, — пообещала я.

Через неделю четверть газетной полосы 'занимала фотокарточка уходящего троллейбуса с цифрой 13 на «спине»...

Мне кажется, что это о нем и о нас поет Булат Окуджава...

1994 (*?)

Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ, Штутгарт

Р. 5. Помню, как передавали мы из рук в руки листки протокола, который, несмотря на запрет, вела в зале суда мужественная Фрида Вигдорова. Поэта судят... Судят — поэта... И мы, следующее поколение, еще школьники, прозревали ... Я не понимаю, как мог студент ленинградского университета Владимир Путин мечтать о работе в КГБ, при всем его, пусть даже юношеском, романтизме. Ленинград — город позорных (увы, это тоже правда) судебных процессов над литературой, нити которых всегда вели именно в эту организацию, в Большой дом, расположенный по иронии судьбы как раз напротив Союза писателей. Водопроводчик мог об этом не знать. но — не будущий юрист...

А мне надо было получать в милиции первый паспорт. В силу разницы в возрасте и кругов обитания с Бродским мы были не знакомы, но уже прочла несколько его стихотворений, и я выбрала для себя (уже окончательно) фамилию отца. Потому что — сказала маме — один поэт Бродский уже есть... Мамина фамилия была Бродская, и она сохраняла ее и огорчалась, что история фамилии на ней кончится... (Теперь я так же бережно, при всех перипетиях жизни, несу фамилию отца.) Но не обо мне сейчас речь. Просто этот факт — совпадения фамилий — упоминается в одном моем более позднем, 1979 года, стихотворении (отклик на изгнание Иосифа Бродского из страны Советов), которое, как мне кажется, может дополнить это нечаянное эссе и поставить все точки над «и»...

И буквы Е естественный изгиб ' .'
 казался *мне* ехидным в этом слове:
 в конце — мы знали — классного журнала
 в моей Графе — единственной — «еврейка»,
 и дети утешали: «не похожа»,
 поскольку полагалось издеваться,
 они ж меня за "двойки" полюбили,
 потом высокомерие пришло...

Я принесла как жертвенного овна
 свою судьбу... Мне желтая звезда
 дрожала, как последний лист *кленовый*.,
На ниточке доверия к ветвям ,,,

- Они своей отечественной бредят,
 а у меня история длиннее,
 чем Библия: что в Библию попало —
 случилось ДО... И юность разводила
 надменными руками: *се ля ви*,
 когда не принимали на работу...

Потом пришли спокойствие и лень;

хоть иногда еще приходят мысли:
 святой Иосиф продан, как в Египет,
 в Америку. Не раб — наоборот;
 он фараон, его ласкает Муза.

А у меня фамилия по маме
 такая же (о трепет совпадений...).
 Я Бродской быть могу, коль пожелаю,
но у меня фамилия отца.,

И что мне делать в каторжной стране
 с ее обрядом вечным — обрезанья
 поэтам — слишком длинных языков...

И что, скажи, без Родины мне делать,
с такой любовью к медленному снегу
и поцелуям в сумрачной парадной,
а золотые, словно с лип, кружки,
в которые играла с первых всхлипов,
не прозвенят отцовские медали,
что большой подвиг — жизнь или отъезд...

Отечество проиграно, отец.

Последний лист уткнулся носом в землю.

А я глазами предвкушаю небо,
где наш космополит и тунеядец
восходит над героями труда...

ЖАРКИЕ ДНИ У ЗИМНЕГО ДВОРЦА

(К ГОДОВЩИНЕ АВГУСТОВСКОГО ПУТЧА)

..Вряд ли я забуду когда-нибудь этот взорвавшийся холостой, если так можно выразиться, но тогда-то показалось - всамделишной, всё разрушившей бомбой день: 19 августа 1991-го года...

Густое, как повидло, тёмное небо не предвещало грозы, спали с распахнутыми навстречу теплу и свободе окнами, в скептической душе тоже уже приоткрылась фрамуга: веял свежий европейский сквозняк... И даже новенький, только что полученный выездной паспорт - завтра надо было выкупить заказанный на Лондон билет, предстояла поездка по приглашению Юрия Колкера, сотрудника радиостанции „Би би си“, - уже реально, хотя ещё непривычно торжественно возлежал на письменном столе, сверкая позолотой с багрянца...

Накануне мы поздно, с последней электричкой, вернулись из загорода, с Финского залива, и блокнотик с написанными там, между морем и небом, стихами торчал возле рюкзака из спортивной тапочки... Разбирать вещи не было сил: утро вечера мудренее...

...Вскочила с недоумением по требовательному взвизгу будильника (вроде бы не заводила, ещё отпуск...), но это оказался настойчивый звонок в дверь. На пороге (было примерно половина седьмого) белела соседка в ночной рубашке:

-Спишь, а в стране уже другое правительство ! Теперь и тебя посадят...

(Она недавно вернулась домой из мест не столь отдалённых, правда попала туда не по политическим, а по гастрономическим причинам...) -Ну что стоишь, давай включай радио!..

Что прозвучало раньше - увертюра из балета „Лебединое озеро“ (помните: как похороны или скандал в ЦК - так на всех телеэкранах страны трепещут почему-то маленькие лебеди , знал бы Чайковский,каким жирным и глупым гусакам они достанутся...), так вот, что раньше - воспринимающаяся уже как правительственная музыка или приказ командующего ленинградским военным округом (может быть, всё-таки, боюсь соврать) только что созданным чрезвычайным комитетом, но главное - приказ всему населению города срочно сдать радиоприёмники и пишущие машинки (как бы ни так, этого вы у нас никогда не отнимите...), словом, что раньше - не знаю, всё это слилось в единый и,увы, тогда ещё не забытый бред. Также, как и всё остальное, что произносилось и повторялось (и повторялось, и повторялось...), убеждая нас, что предыдущий этап нашей истории (как и всегда) был ошибочным...

Форточка закрылась. Душа съёжилась. Губы сжались.

Вытащила из постели недоумевающего сына, сунула под душ - и под радио: Запоминай... Навсегда! Возможно, тебе придётся жить при фашизме... Что же делать?

Лондон, понятно, отменяется, раз уже и до машинок добрались... Хотя..

Если сейчас же - за билетом, может, и проскочу, может, ещё и не успели заблокировать кассы... Они ведь ничего не умеют делать четко, продуманно, и в этом всегда было пусть маленькое, невзрачное, но всё-таки простое человеческое счастье уцелевших даже в 37-м деятелей культуры...Другое дело, что билет всё равно один, а нас - трое... Да и не убежать же как заяц в решительную минуту... Наоборот. Если они снова - значит, надо снова и нам...

(В данном случае „нам“ - это вышедшим несколько лет назад из подполья ленинбургским, по моему тогдашнему выражению, писателям.)

Глотнула обжигающего гортань и отрезвляющего мозг гуталинового цвета кофе, по ещё как бы не видящим от внутренней боли глазам царапнул угол блокнотика, торчащего из-под шнуровки...

Машинально перелистала, и вдруг - поняла: это именно то, что нужно!

Наверное, наши стихи вообще мудрее и зорче нас, их авторов... В этом, написанном накануне цикле, уже ощущалось, безо всяких на то причин, хриплое дыхание приближающейся трагедии... Так, как будто о готовящемся перевороте, сообщили не Горбачеву, а мне лично...

Действовать надо было молниеносно, пока ещё ходил транспорт. Муж помчался с моим паспортом в кассы Аэрофлота, (кстати, отходя от окошка с уже и не чаянным голубым прямоугольником, услышал по местному громкоговорителю, что продажа авиабилетов на все внешние авиалинии прекращается до особого распоряжения, - окошко захлопнулось...) А я в это время стояла в притихшем - как будто в пустом (люди тягостно молчали, боясь проронить лишнее слово) троллейбусе, медленно, - казалось - так медленно продвигавшегося к Литейному проспекту.... Я ехала в Дом писателя, расположенный по иронии судьбы как раз напротив серого, монументального здания ленинградского КГБ. ..

Надо сказать, что до недавнего времени в этом изящном барочном доме, бывшем особняке графа Шереметьева, делать мне и другим находившимся в оппозиции к соцреализму литераторам было абсолютно нечего. Здесь, в Белом зале с мраморными колоннами, нисколько не стыдясь очаровательных ангелочков, звучала прудукция писательского цеха с отточенными рифмами типа „завод -зовёт“ и „колхоз - возрос“, за тяжелыми, обитыми гдухой кожей дверьми копошились парт - проф - и прочие, так необходимые литературе бюро, а внизу, в ресторации, авторы поили до поросячьего визга своих будущих рецензентов...(Такой род „свободы“ всегда дозволялся, и даже поощрялся, как необходимая народным писателям привилегия...)

Но уже больше года в одном из закутков этого, в кавычках, разумеется, „дворянского гнезда“, располагалась независимая газета „Литератор“, арендовавшая у товарищей советских писателей помещение и терроризирующая их же новыми, вернее, старыми, но вышедшими из сам-и-тамиздата именами и мыслями... Мы тесно сотрудничали.

В этот день мои торопливые шаги по деревянной винтовой лестнице отдавались глухо, как в пустом орехе. Еще не зная, чем всё это обернётся, служащие (служащие писатели...) на всякий случай под разными предлогами не пришли на работу, выжидающе отсиживались по домам...

Редактор газеты нервно курил, положив руку на телефонную трубку, как будто пытался прощупать пульс ситуации... Его личная независимость оказалась весьма хрупкой...

Вылез из своей конуры, наверное, и ночевавший в этой крошечной фотолаборатории, Серёжа Подгорков. Писательские портреты его работы всегда отличались честностью, жёсткостью, трагичностью, являясь не „пятнами“ в тексте, а тоже содержанием газеты. Поздоровались, глядя понимающе друг в друга, и - вдруг:

-Стой, пожалуйста, вот так, сейчас , я только перезаряжусь, ты не представляешь, какие у тебя сейчас глаза...

(Сейчас его выставка из тех лет, которую он мне подарил, экспонируется по всей Германии: Штуттгат, Берлин, Дрезден...И тот портрет, где я выгляжу лет на десять старше себя сегодняшней, мне дороже других...В искусстве нет места кокетству.)

А тогда, спустя несколько щелчков серёжиной камеры, придавая этому слову уже совсем другое, зарешетченное значение, вывела редактора из его летаргического напряжения:

-Ну что ж - говорю - после того , что понаписали - понапечатали, терять ведь уже всё равно нечего: давайте хоть закроемся с честью, а не по распоряжению Комитета... Вот стихи в экстренный номер...

Он еще не решился, сидел, обхватив начавшую сесть (не сегодня ли?..) голову, но тут кто-то принёс текст Обращения к ленинградцам, призывающего не подчиняться путчистам и уже подписанного одним из авторитетных авторов газеты писателем Михаилом Чулаки. Моя подпись стала второй. По телефону собрали ещё около десяти.

Забегая вперёд, скажу, что уже несколько раз передавала из Германии по факсу свой голос за секретаря Союза писателей Санкт-Петербурга Михаила Михайловича Чулаки. Он и сейчас, к моей радости, возглавляет писательскую организацию города.

Словом, быстро созвонились с маленькой загородной типографией и взялись за макет...

К вечеру на подступах к „колыбели революции“ уже громоздились баррикады...

Из Вырицы, с дачи, с трудом найдя где-то на обочине действующую телефонную будку, звонила мужественная, но, очевидно, потерявшая голову подруга:

Срочно сообщи Собчаку: на Ленинград движутся танки... Вот здесь, прямо перед моими глазами... Могу подсчитать количество...

У меня не было, разумеется, никакой связи с мэрией, потому что я - поэт, и только поэт (что, согласитесь, немало, особенно в тогдашней России), и я понимала, что Анатолий Александрович осведомлён о дислокации войск не хуже, чем мы с ней...

Ещё один звонок : друг детства, тонкий, хрупкий, мухи за всю жизнь не обидел, черепаху запазухой таскал, в армии по здоровью не служил, длинные музыкальные пальцы, поэтическое дарование, наследованное по касательной: племянчатый внук Марины Цветаевой...

- Это я, здравствуй! Звоню с баррикад. Да, возле мэрии.... Если со мной что случится, возьми стихи. Ключ у мамы. Скажи ей: я должен был... Ну всё, сейчас будут давать оружие...На всякий случай, - прощай!..

...И когда через неделю я сидела в прокуренном русском зале радиостанции „Би би си“, посреди чопорной великобританской столицы, и все мониторы показывали ещё ошарашенную, ещё не пришедшую в себя Россию, а многоопытные политологи-советологи, попыхивая трубками, обсуждали путч как заведомый фарс, спектакль для публики, эти лондонские дым и туман резали мне, честно признаться, глаза...

Да, конечно, надо признать, что многое издалека, с безопасного наблюдательного пункта видится трезвей и ясней (вот и мы теперь, сидя в Германии, не прочь порассуждать о путях России...), но, господа, единственные жизни нескольких - с большой буквы - Граждан, среди которых мог оказаться и мой друг, - не фарс... И пусть вновь утвердившееся или новое, взобравшееся на танк правительство, превратило московские похороны юношей - идеалистов в пропагандисткий театр, слёзы их матерей не были бижутерией, а гробы - бутафорией. Материнские сердца не зарубцуются никогда, как и наша живая память...

Надо сказать, что, несмотря на быстрый выдох, и вообще на не слишком серьезное отношение к происходившему, за границей в эти дни оставляли всех желающих там остаться, и даже в Англии. Но надо ли говорить о том, что для меня об этом не могло быть и речи...

Но зато когда через пару месяцев, уже дома, в Ленинграде, было получено разрешение на переезд в Германию всей семьей, сомнений не оставалось никаких... Ибо жить в ожидании нового переворота, отпускать сына в такую армию, услышать ещё раз (и вдруг - навсегда...) приказ о сдаче всей множительной техники и даже затрапезных машинок, - для этого нужно было иметь твёрдую уверенность в ещё одной, следующей жизни...

...Разные бывают семейные альбомы...Чаще всего, по их страницам ползают пузатые малыши, морщятся ласково бабушки и дедушки, надпись „первый раз в первый класс“ сменяется фотографией праздничной церемонии в ЗАГС, словом, от белого школьного передничка - к белому невестинному платью, и далее, как говорится, до „белых тапочек“...

Но случаются в личных альбомах жителей нашей многострадальной Родины и такие листы, которые имеют отношение ко всей нашей семье, именуемой, извините за простительный в данном случае пафос, - „народ“...

Так останутся навсегда у нас дома под картонным переплётом экстренный выпуск газеты „Литератор“, те стихи, тот портрет, и ещё - эти трагические снимки, запечатлевшие митинг против путчистов на Дворцовой площади.

1996

БАЛЛАДА О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ВЕТЧИНЕ

Советские радости: розовый шмат ветчины
 Марь-Ванне достался, и вовсе не жирный, последний...
 «Последний, последний!» — она повторяет и скачет,
 и кажется ей, что соседка от зависти плачет
 в передней.
 В какие же праздники мы отродясь включены...
 И сколько эмоций, неведомых в скушной, другой,
 нелепой стране (и куда они время девают?)...
 Последний, не жирный, такой для души дорогой, —
 столь полного и совершенного счастья у них не бывает...
 Так радуйтесь, Марья Иванна, что прожит не зря
 сегодняшний день, и не зря закалились в блокаду:
 Вам завтра молочную очередь выстоять надо,
 потом — вермишель и подушечки — к чаю усладу,
 но Вам обещали давно, что взойдет коммунизма заря...
 Вы спите спокойно и честно, заветам верны.
 (Суставы кряхтят, сердце сморщилось луковкой в сетке)
 ...И тут Вам является розовый край ветчины:
 последний, божественный... (задние возмущены),
 Вы тянете руку к большому прилавку страны,
 А он исчезает в проворной кошелке соседки...

1991

А кто-то все еще рождает,
хоть всё в Россиии дорожает,
всё, кроме жизни... Страшно жить.
Цена дыханию - копейка...
И счастлив более калека,
не уготованный служить...

Слепцу не выдадут винтовку,
хромой не выстрелит в литовку,
во всяком случае - пока...
Есть вещий знак в болезни сына:
не посягнет на армянина
его укрепшая рука...

Присяду тихо к изголовью:
Господь больной наполнил кровью
твои тропинки, чтобы мне
сквозь слезы радоваться втайне:
ты не палач в Афганистане,
ты не прислужник Сатане.

Ты не патрон в чужой обойме,
ты не обрубок в яме бойни,
и, сколько нам снегов и снов
прольется - примем без обиды.
Благословенны инвалиды
в стране, крестовой до основ.

Безумицы! С прощальной лаской
склоняться надо над коляской...
(Ох, наше русское авось...)
И, может быть, в трубе подзорной,
как Спас от гибели позорной,
Чернобыль светится насквозь...

У залива лежать терпеливо
или молча бродить вдоль залива, -
никаких тебе радиоволн,
не догонят газетные сплетни...
Этот август, быть может, последний...
Видишь лодку, а видится - чёлн.

Безмятежно насквозь голубое,
и, Бог знает, что будет с тобою:
может - голод, а может - тюрьма...
Но купается ветер в рубахе -
забывается о Карабахе

и о том, что еврейка сама.

Только тем-то и счастливо детство
было, что подносило в наследство
столько неба - до края земли:
совестливые луковки эти,
и восточную сказку мечети,
и готических стрел журавли...

Не грешила походкой монаршей,
становилась печальней и старше,
постигая российский курьёз.
И своя проступала порода...
Да, тюрьма для любого народа,
но - свеченье вечерних берез...

Врачевала мне родина душу,
искалечив судьбу. И не трушу
перед новым порядком вещей.
Но артерии с кровью - границы...
Как бы, Господи, нам не напиться
из кровавых народных борщей...

Ишь ты, Ванга, Кассандра, Сивилла,
и саму-то подымут на вилы
взбунтовавшейся пьяной толпой.
Даже выше согласия нету:
тот - Христу, а другой - Магомету
сотворил пьедестал голубой.

Но шуршит золотая дорога
по воде до единого Бога,
до безумной реальности той,
где скользишь - и не тонешь - по влаге,
все равно что пером - по бумаге,
вот и чайка висит запятой...
Но кусты, оголяясь как панки,
шепчут в рифму: а в Вильнюсе танки?
А в Тбилисси? - Гуляешь, забыв?..
Нет, надолго у нас не забыться...
Август. Отпуск. Горластая птица
оккупирует Финский залива...

15-16 августа 1991.

" У МЕНЯ ТЕЛЕФОНОВ ТВОИХ НОМЕРА..."

Петербург... Помолчим, чтобы не сказать банальность...

Постоим, надломив силуэт над лиловой вечерней Невой...

В этом городе невозможно жить - и писать: за плечами дерюга, гремя на ветру, вырастает в крылатку, в тёмной ряби колеблется тонкий профиль Анны Царевны (отражение Модильяни через зеркало подсознания). Впрочем, жить - и не писать в этом городе ещё более невозможно...

И чего только ни случалось здесь за - вот уже - триста лет, не было, наверное, ни одного мгновения, когда бы на гулкий влажный гранит не ступала печаль Поэта...

И не одна: поэты в граде Петра плодились плеядами...

(Чтобы быть понятой современным читателем, - поясняю:

Пушкин тусовался здесь с Вяземским, Мандельштам ловил кайф и балдел от Аннушки, Бродский торчал с Кушнером - базарили о барокко...)

Я не знаю, что это такое: петербургская (или ленинградская) поэтическая школа...

Может быть, это означает исповедовать город как религию? Евангелие от Блока, все дома - храмы? Или это та никем не навязанная высшая строгость свободы, в которой есть всё, кроме - даже тени -вульгарности?..

(Я не знаю другого города которому так "нейдёт" вчерашний ПТУшный жаргон или сегодняшняя американизация всей страны...)

Вот уже и в жизни моего поколения наступила пора вопросительных знаков и почтительных многоточий... Мы стали горше, мудрее и снисходительней. Мы больше не спорим с пеной у рта, кто же наш лучший поэт, и не только потому, что он обрёл покой и новую родину под чёрным солнцем Италии...

Земля щедра, всем на ней (и в ней) хватит места...

И мне бы хотелось поблагодарить писателя Даниила Чконию за то, что он принёс на страницы "Ведомостей" - согласно своему личному вкусу - терпкий привкус настоящей литературы. И за его предложение познакомить читателей газеты, съехавшихся в Германию со всех концов бывшего нерушимого, с высокой Санкт-Петербургской лирикой.

Мы понимаем, что ей тесны не только рамки "Литературного приложения", но и всех антологий. Ведь не пять и не десять имён, а, как минимум, пятьдесят. А ежели отмечать, так сказать, стихов наводнение не по самой высшей черте, то и все пятьсот...

Почему же сегодня - именно эти?

Ответ может кого-то шокировать своей откровенностью: потому что... люблю!

Потому что заслуженно известные - или незаслуженно неизвестные...

Потому что уже старые - или ещё молодые...

Потому что стиль лёгок, хоть жизнь тяжела (или - наоборот...)

Потому что каждый из них мог бы сказать "Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма"... Вот этот привкус "несчастья и дыма" и есть, на мой взгляд, критерий поэзии...

ВИКТОР КРИВУЛИН

МГНОВЕНИЯ ПЛОДОВ

Мне кажется (мне хочется) так: его имя уже стало таким же символом города как, скажем, Клодт. (Скажем "Клодт" - и слышим приглушенный цокот копыт...) Скажем "Кривулин" - и возникают в скобках даже не шелесты строк, а шорохи целой эпохи, ворохи самиздатовских журналов, рокот квартирных чтений, одним словом, - семидесятые...

И когда - продолжая метафору - открылись скобки нашего подпольного существования, о котором он же когда-то сказал: "Дух культуры подпольной - как раннеапостольский свет...", так вот, когда ему уже, кажется, осточертели труды пытаться быть при жизни - живым, - Виктор Кривулин вышел к заждавшемуся читателю в седой апостольской бороде, опираясь на палку всей тяжестью пройденной жизни.

И, что самое главное, в блистательном всеоружии всех своих дарований: талантов писателя, деятеля, издателя и даже кошколюба и кошковода... Теперь, как говорится, всё - в строку...

Время нынче благоволит в том числе и к тем, кому есть что сказать... Виктор , теперь уже Борисович, - член многочисленных жюри, почётный гость всяческих презентаций.

А между тем новое поколение петербуржцев уже не знает его изумительных стихов , написанных в годы "тайной свободы", осве - (или освЯ)-щённых некой как бы космически тютчевской, интимно отстранённой интонацией, когда, кажется, пылающая щека охлаждается, уткнувшись в невидимый слой стекла...

Таково было моё первое ощущение от "Мгновений плодов", цикла, услышанного лет этак 25 тому где-то там, где мы бывали...

Потом эти стихи вошли в первую книжечку поэта, выпущенную в 1981-м в Париже, прямо на своей кухне, только что - тогда - покинувшим Родину Василием Бетаки.

Я бережно храню все книги и рукописи Кривулина, подаренные автором. А вот именно эта , компьютерная, до нас так тогда и не дошла. Мне её подарил недавно в Париже её (хочется почему-то сказать "ея") издатель.

И все-то наши успехи и неурядицы - только мыльные пузыри, плоды мгновений, по сравнению с переливающимися "Мгновениями плодов"...

ОЛЕГ ОХАПКИН

ОПАЛЁННАЯ КУПИНА

Когда -то я чисто филологически, что называется, ради красного словца, пошутила: "Знаешь, говорю, есть поэты на "ах" - Ахматова, Ахмадулина, а есть на "ох"..."

Другой бы на его месте наверняка сострил в ответ что-нибудь о "поэтах на "б", тем более, что присутствующий при сём Давид Яковлевич Дар уже потирал руки от удовольствия, но Олег Охапкин - человек, светящийся благородством, поэт высокого

штиля, до мести никогда бы не опустился. Добродушно пробасил сакраментальное из отца Онуфрия - Ольге, и сам же смутился...

А вот другое воспоминание, "воспомянатель" - другой замечательный поэт, Виктор Кривулин, автор предисловия к парижскому томику Олега:

"Весна 1972 года. Квартира смертельно больной ленинградской писательницы Веры Пановой. Мы сидим втроём: муж Веры Пановой Давид Яковлевич Дар, умерший несколько лет назад в Иерусалиме, двадцативосьмилетний поэт Олег Охупкин и автор этих строк. Олег читает стихи. Кажется это был "Въезд Господен в Иерусалим". По мере чтения лицо Дара оживает всё более. Он слушает с каким-то радостным нетерпением. Сейчас нет людей, способных так слушать стихи современника. Но стихи Олега предназначены именно для такого слушателя.

"Олег, я слушаю Вас и - не поверите - явственно вижу, как у Вас за спиной вырастают крылья!" - эти слова Дара, сказанные в тот вечер, я хорошо запомнил, может быть, потому, что, спустя всего четыре года, после многочасового допроса в "органах" Олег рассказывал: "У них, оказывается, все мы значимся не по именам, а под какими-то кличками. У меня, например, кликуха "Орёл"..."

Могу добавить к рассказу Кривулина, что ничего удивительного, не случайно же к нам, уже в Клуб-81, альтернативный Союзу тогдашних советских писателей, однажды заявился полковник КГБ по фамилии Коршунов, а потом, в перестройку, он стал работником одного из райсоветов Кошелевым... Видимо, сами они там у себя кое-что про птиц, то есть, кто есть кто, всё-таки понимали...

Литературный путь Олега Охупкина сравним и с трагическим парением, и с радостным, по-христиански понимаем подвигом бытия. Не знаю, допросы ли или трудное безотцовое детство, когда и устремил впервые свой взор к Богу, или эта лавина стихов, но - не выдержала Душа, надломилась...

Время течёт медленно, очень медленно, потому что - всё чаще - за решёткой психиатрической клиники. Воробей на подоконнике свободнее, чем орёл в неволе..

Но когда вдруг снова нахлынут стихи, - в них предельная, и, кажется, запредельная ясность...

В торжественных строфах слышится эхо литавров.

Олег Охупкин - первый лауреат державинской премии, закономерно учреждённой в граде Святого Петра.

ВИКТОР ШИРАЛИ

"Поясняю:

Эта родина-галера

Нам даётся для труда -

Не для побега..."

Елена Игнатова (имя известное любителям Санкт-Петербургской поэзии) пишет печально из Иерусалима в Штутгарт: "Не знаю, чем и помочь... Витя Ширали страдает, болеет. Его как будто бы уже нет..." Такое вот осталось у неё ощущение после поездки на Родину. А я его не застала, он опять слёг в больницу, говорила с мамой, которая была и остаётся его лучшей подругой...

А ведь как всё начиналось... Любимый птенец, вылетевший из царскосельского гнезда, лицеист Татьяны Григорьевны Гнедич (Той самой Гнедич из того самого Пушкина, который был для нас, жителей всегда всё-таки "бурга", Царским селом...)

Фривольный, но не вульгарный, не то что бы даже посетитель, а завсегдатай (иногда уходил оттуда домой...) "Сайгона", скандально популярного кафе на углу Невского и Литейного... Кафе поэтов? Не знаю... Хотя сейчас на доме, где с тех пор уже успел побывать магазин сияющих унитазов (у каждой эпохи - свои витрины...), открылась литературно-мемориальная доска. Мне всё-таки кажется, что место писателя - за письменным столом, а не за буфетной стойкой... Впрочем, и заядлые парижане, и вольные жители вычурной Вены могут мне возразить стойким букетом кофейных ароматов своих культурных традиций...

Надо, наверно, сказать, что и стихи, и вся как бы приклатнённо-пушкинианствующая стихия Виктора Ширали (и вокруг него) апеллировала (как бы...) к подвыпившей публике, к её восторженному одобрению. Но он -то был не только подвыпившим, но ещё и - самое главное - упоённым, может быть, последним эпикурейцем на прохладных туманных берегах лицемерного, к тому же, города Ленина...

Его первая книжка "Сад" вышла в свет ещё при причмокивающем дорогом, не столь харизматическом, сколь маразматическом лично товарище, она была первой, попавшей на социалистический рынок от "не нашего" (то есть, нашего...) по своему мироощущению автора, и я помню её официальное обсуждение на секции поэзии ССП.

Стыдно, грустно и нестерпимо жаль и привычно ломающегося, и уже надломленного автора...

"...Я повторяю, о моей книге ходят по городу слухи, лишённые..."

В том-то и дело, что по городу ходили машины и пешеходы, и никаких особых слухов о худосочной во всех отношениях книжечке. Ибо лишённые естественноно освещения в период роста, да, к тому же, и оболваненные под "нулёвку" цензурой сады оказывались мертвее распетушившихся тем врменем палисадников...

Но силуэты всё же нет-нет да угадывались...

А поэт Виктор Ширали - печальный и любящий.

Очень любящий, кстати, свою старенькую маму, которой и посвятил новую книгу.

ЕЛЕНА ДУНАЕВСКАЯ

ПИСЬМО В ПУСТОТУ

Книг сегодня выходит так много, и с таким шумом и пеной не только от упоительного шампанского на презентациях, и в таких блестящих, как лоскутки, предназначенные для туземцев, обложках, что простую, скромную, кстати, оберегающую серьёзный и тихий голос поэта от недостойного читателя, можно попросту не заметить...

Впрочем, Елена Дунаевская всегда и всё, в том числе и в первую очередь для себя самой, называет настоящими (а, значит, и безжалостными) именами...

Многие годы публиковала она переводы из классической английской поэзии, с её, нельзя сказать, лёгкой, но точной руки пришли в Ленинград Эдмунд Спенсер, П.Б.Шелли, Джон Китс. К своему же оригинальному творчеству оставалась строга, не спешила не только потому, все усилия были заранее обречены, но ещё и потому, что всегда в себе сомневалась. Что случается именно с людьми образованными и очень способными... (Дурак, как правило, уверен в себе, ибо никакой другой литературы, кроме как собственного производства, просто не представляет...)

Когда-то Дунаевская окончила физико-математический факультет, по реальной же профессии долгие годы, как и многие представители петербургской культуры, была кочегаром, то есть ушла на самое социальное дно, ниже - только земля... Сейчас, наконец, преподаёт в одном из Санкт-петербургских лицеев, но не математику, а английский. И, как всегда, к себе придирается...

Мне бы всё-таки хотелось показать читателям хотя бы два стихотворения из её единственной книжки, которую она назвала "Письмо в пустоту". - А вдруг автор всё-таки ошибается?..

„Что-то мне надо найти в небе...“

„Серёжа приехал из Италии и опять привёз жене юбку не того размера“ - сообщила мне по “емеле” наша общая приятельница.

Ничего удивительного: одно слово - поэт...

А ведь, между прочим, кому-кому, а Сергею Стратановскому витать в облаках было сложнее, чем нам всем: его не коснулась вынужденная романтика котельных, он удержался чудом на своей кропотливой работе - в ленинградской государственной Публичной библиотеке имени беспощадного критика российской рутины - Салтыкова-Щедрина, всегда был человеком исключительно обязательным - и в семье, и на службе, и в дружбе. Долгое время, когда литературный процесс шёл, преимущественно, да и, можно сказать, только в самиздате, выпускал популярный в великом городе с областной судьбой (выражение Даниила Гранина) журнал „Обводный канал“.

Самиздатовских журналов тогда было несколько, из наиболее известных - „Часы“ под редакцией Бориса Иванова (Борис Иванович и сейчас сидит в котельной - дорабатывает до пенсии) и „Митин журнал“ (издатель - Митя Волчек, уже давно специальный корреспондент радио „Свобода“) Я думаю, что все мы, и издатели, и авторы тех подслеповатых („Эрика“ берёт четыре копии...) изданий достойны каких-либо премий, и почти все какую-нибудь - да получили. Потому что в годы перестройки вся наша поэзия андеграунда, вторая культура, как нас называли, оказалась первой - и на какое-то время даже единственной. Андеграунд вышел в авангард...

Серёжа Стратановский долго ждал своей очереди и - и дождался: в 2000 году он стал лауреатом одной из самых престижных премий: премии имени Иосифа Бродского. Согласно которой и провёл несколько месяцев в Италии, о которой столько читал и где купил не ту юбку...

(Профессиональная честность требует от меня добавить: творчество этого поэта к линии Бродского - а она ощутима, особенно в поэзии Санкт-Петербурга, - как раз-таки никакого отношения не имеет. Это всё равно, что, скажем, было бы удостоить уважаемого Дмитрия А. Пригова премией Лермонтова, если бы таковая имелась... Но главное всё-таки, что награда нашла героя: человека заслуженного и достойного во всех отношениях.)

Так что удача на земле, наконец, улыбнулась. А что касается поисков в небе - они продолжаются...

9. СТИХИ НА ПЕСКЕ

(ИЗРАИЛЬСКИЙ ДНЕВНИК)

Всем друзьям посвящается

+++

И горы облаков, и кактусов отары,
 Двугорбый божий бомж над папертью песка...
 Здесь так чисты цвета... И мы ещё не стары.
 И птица на лету касается виска.
 О, родина всего! О, пафос Палестины!
 О, живопись пустынь - причудливей Дали !
 Льдовеющая соль. Блаженные крестины
 в Отеческих руках... Купель. И корабли
 исчезли. Стёрт прогресс. Ни дыма. Ни детали
 зловещих наших дней. Вернулся в окаём
 первоначальный смысл.
 И след Его сандалий
 впечатан в твердь воды и солнцем напоён...

+++

Сколько в компьютере божьем оттенков зелёного -
 Я никогда ещё в жизни не видела столько!
 Здесь, в Галилее, спасенье от времени онного,
 словоубежище... И кислосладкая долька
 (не леденец химиядный - плоды трудовитые...)
 Солнце гончарное, скрипнув, за кадр опускается.
 Овны библейские, к жертве любовно завитые,
 так безмятежны, что фотозатвор спотыкается...
 Патриархальное, ветхозаветное, горнее
 ширится небо - чем выше тропинка топорщится.
 Совестно в рифму, - изыди, как бизнес - игорная...
 Дай надышаться псалмами...
 (Примолкла, притворщица.)

+++

Мой друг опять невыездной -
Как много лет тому...
И не заполнить обходной
В пылающем доме.

„Наш дом - Израиль“ - говорит.
Бездомный бледный грач...
Щебечет весело иврит
И прячет вечный плач.

Он не банкир, не спекулянт
Мой старый добрый друг,
Лишь любопытный эмигрант
В пески - из белых выюг.

И вот сидит он, весь в долгах,
В компьютере сидит...
Мешает думать о богах
Профуканный кредит.

Мой друг ни в чём не виноват,
Он - из породы птиц...
И если завтра новый ад -
Он первый в Аушвиц.

Он входит в кнессет, глух к речам,
Неловкий как верблюд.
И люб Шагал его очам,
И скушен прочий люд.

Он отвечает невпопад,
Но встать „в ружьё“ готов
Мой друг - печальный депутат
От партии цветов...

+++

То ли ломится бешеный яркий ландшафт,
то и дело меняясь, в стекло ветровое?

То ли фрески Шагала до звона в ушах
 разрослись, и смыкаются над головою?
 Всё возможно под куполом этих небес,
 где в прищуре солдата - печаль Авраама,
 где пилястрами стройными лепится лес
 и однажды в столетье скворчит телеграмма.
 Как лиловы оливки, и как апельсин
 нестерпимо оранжев, на зависть Манджурий...
 Над слепящим песком - паруса парусин
 и араб в неизменном своём абажуре...
 Все мы родом из этих горчичных земель,
 что являют прообраз и ада, и рая,
 где, как в детстве бронхитном, палитровый хмель
 и восторг сотворенья... И вот он, Израиль!
 Я намокшую прядь поправляю крылом
 и не ведаю, сколько веков отмахала...
 И венчает картину, мелькнув за стеклом,
 смуглый ангел пустыни, патрульный ЦАХАЛа...

+++

На зубах скрипел песок,
 шла осада.
 Не висок, а дух высок
 твой, Масада.
 Пусть им имя легион,
 хватит - Рима.
 Желт песок. И желт огонь.
 Всё - горимо.
 Жажду взглядом утолив
 в Божье небо,
 знали - больше ни олив
 и ни хлеба.
 Ни надежды на побег,
 ни подмоги.
 Первый подвиг. Первый век
 синагоги.
 Обнимите жён, мужи, -
 время тризне!
 Пусть им наши куражи,
 а не жизни!
 Лучше гибель, чем клеймо,
 что - отрепье...
 ...Поналипло к нам дерьмо
 раболепия.
 Не грозит нам дефицит
 прохиндеев...

Но - великий суицид
иудеев!
Занесло песком года -
да не стёрто...
Даль как желтая звезда
распростёрта.
Не для МИДа, не для вида -
фасада:
Золотая пирамида.
Масада.
Приходите погордиться,
старая,
не забывшие традиций,
евреи...

+++

Дождик. Муторно. Жди гостинца
от безумного палестинца...
Неужели же всё заране:
брань соседей и поле брани?..
Бог - он каждому понемногу:
флягу влаги и хлеб в дорогу.
Иудею и христьянину.
(Износилось бельё в рванину.)
И араба арба палима
белым солнцем Ерусалима.
Что же ты натворил нам, Боже!
Что ни век - то одно и то же:
взрывы крови, руины мести...
Люди жить не умеют вместе.
...Я вернусь в свои палестины,
ребятне раздам апельсины.
А родня мне - борща половник:
мол, хлебай, отощал, паломник...
Шагом-шепотом выйду в город,
приподняв - от прохожих - ворот.
Тихо-тихо. После террора
отдыхает крейсер „Аврора“.
А в парадных того построя
пьёт народ, разойдясь по трое,
пьёт и плачет : „Помилуй, Боже...
(И жидовскую морду - тоже...)“
Потому-то и ждать Мессию
не куда-нибудь, а в Россию -
где бродяга в лохмотьях ищет
Книгу Бога на пепелище.
Скрипка ль плачет? Скрипит телега?
Острый свет над пустыней снега....

+++

...Земную жизнь пройдя до половины,
 верней, почти до самого конца,
 я знаю : в птичьих шапочках равнины
 не заслонили Божьего лица.
 Тому, кто нам наказывал: не целься,
 не обмани, будь страждущему - брат,
 милей и ближе ряженных процессий
 поэт, стихи слагающий в шабат...
 Космополит, что пьёт арабский кофе,
 смакуя горечь, сжав до синевы
 осколок моря... Этот на Голгофе
 Не отшатнет от плахи - головы...
 Да, не любил катания на танках,
 чурался пейс, - зато наверняка
 арабских цифр в швейцарских мутных банках
 не прикрывала алчная рука...
 И если все мы, Господи, повинны,-
 покинь тобой придуманный народ...
 Земную жизнь пройдя до половины,
 я слышу скрежет Дантовых ворот...

+++

Лена, Володя, Наташа и Миша.
 Над головой - сионистская крыша.
 А на столе - православная водка.
 (Задраны вверх и кадык, и борода.)
 Из пенопласта двойник Арафата,
 он исподлобья следит воровато...
 Что тебе, чучело? Будешь из банки?
 Мы никуда не въезжали на танке.
 Мы согревали пол-жизни в котельной
 и Могендовид, и крестик нательный.
 Новый Завет вслед за Ветхим Заветом
 наполнили душу терпения светом...
 Спали с лодыжек галерные гири.
 Не потерять бы в яростном мире!
 Юра, и Вася, и Боря, и Лена -
 все мы Петра и арапа колена...
 И отовсюду спешат катастрофы
 в наши до слёз петербургские строфы.
 В мире безумном воинственном этом
 нет закутка бесприютным поэтам.
 Всюду бездомна ты, братия наша -
 Витя, Серёжа, Олежка и Саша.
 Хоть и пришли заповедные сроки
 и из юродивых вышли в пророки...
 Песах ли, Остерн - рванём без закуски...

Это по-божески. Это - по-русски.

+++

Храни друзей моих, Господь,
и в Петербурге, и в Нью-Йорке,
и во дворце, и во каморке
крепи их дух, щади их плоть.
Нам не дано предугадать,
где нам даровано свиданье,
на Рейне или Иордане
окатит светом благодать.
Я скрытной верою живу,
что вдруг расступится кромешность,
как тайна жизни, как промежность
и - в жгучий обморок, в Неву!
Не оттолкнёт счастливых слёз,
сомкнёт утешные объятья...

И встретят в белом сёстры, братья...
И впереди - Иисус Христос.

Да, мы и грешны, и слабы,
а всё ж друзей не предавали.
Достойны райских куш едва ли,
но - взблеска ангельской трубы.

Хотя б за то, что бедовали
и были всюду, где бывали,
лишь бедуинами судьбы...

18-25 февраля 2001.

Штутгарт.

10. ГИМН ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ ПОПЫТКА КАНТАТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 300- ЛЕТИЮ ПЕТЕРБУРГА

ОТ АВТОРА

Мне жаль, что я не умею сочинять музыку. Собственно, сочинять ничего не требуется. Она звучит и во мне и, надеюсь, в этих стихах, но я не могу рассадить

ласточки нот по проводам линеек. Она звучит во мне, как только я начинаю думать о Петербурге... Мне кажется, что я всегда думаю о нём, и поэтому во мне всегда звучит музыка. С детства. Музыка чужих и своих стихов.

Воздух Петербурга полон исторически-интимных намёков и полуразмытых символов, бледно проступающих сквозь него, как водяные знаки на неподдельных царских купюрах. Нужно только тихо смотреть и ждать, и ты – нумизмат подлинного...

Перелистывая тетрадки даже с юными поэтическими своими опытами (опусами), я везде нахожу приметы города, вряд ли понятные туристам и пришлым. Кто, например, знает, что Песочная или Берёзовая аллея – остановки горя... Только ленинградцы, которые навещали здесь близких, приговорённых страшным диагнозом. С надеждой на чудо... (Иногда чудо сбывалось.)

А речка Карповка? Нева – для всех, а выгнувшая ночную, тёмную, как амальгама, спину зеркальная Карповка – это уже вроде бы как для избранных, посвящённых, в первую очередь – для обитателей родной Петроградской. (Подчёркнутая старушечья вежливость, пропахшая нафталином в скрипучем шкафу, «нищее величие и задёрганная честь» задрипанных «коренных», чьи телефоны имел в виду Мандельштам...)

Или, к примеру, такая конфузливая подробность. Скажите любому сибиряку или, тем более, иностранцу, что Вы родились в Снегирёвке, – и он подумает, что это такой русский посёлок. А петербуржец обрадуется и, скорее всего, воскликнет: и я тоже! И вы сразу почувствуете себя почти родственниками, радостными «крестниками», вполне возможно, одной и той же старенькой акушерки... (Хотя чему тут, собственно, радоваться: за неряшливо законопаченными ватой больничными окнами, за улицей Некрасова ждала вас не такая уж весёлая жизнь, да и её уже осталось на дне капельницы...)

А Новая Голландия, где она – эта странно звучащая страна? Мы, неугодные власти поэты, выпадавшие из дружного хора её певцов «птенцы гнезда Петрова» всю молодость были, что называлось, «невыездными», об обыкновенной Голландии с её голубыми кафельно-вафельными изразцами даже мечтать не приходилось. Амстердам был для нас едва ли не дальше космоса... А в вот Новую Голландию забредали частенько. И не только мы. Помню, Серёжа Довлатов придумал для заводской многотиражки, где мы оба тогда ещё служили, рассказик об алкаше, который случайно заехал в этот романтический район города на последнем трамвае, и, услышав на свой риторический вопрос «Где я?» – внезапный ответ «В Новой Голландии», безумно испугался... (Неужто ихние шпионы во сне похитили или сам по пьянке Родину продал...) В кавычки его умозаключения не беру, поскольку не уверена, что это цитата. Не исключено, что мой – сквозь дымку лет – непрошенный комментарий. Довлатов, который когда-то казался мне шагающим памятником Литейного, уже и сам присоединился к призракам, навещающих по ночам город мифов...

Петербург – город особенный, не только потому, что в нём водятся бесы... Насчёт бесов, кстати, неплохо осведомлены и на Западе, где Достоевский был и остаётся самым известным русским писателем. (Новых русских писателей не знают и, похоже, знать не хотят. Как, впрочем, и своих собственных. Более любопытства и интереса вызывают «новые русские»...)

Кудрявый нострадамус из Северной Пальмиры предвидел и это: «...Всё те же мы, нам целый мир – чужбина...»

И всё-таки петербуржец – это я могу утверждать, поездив по миру – не чужак в

Европе. Такое чувство, будто ты уже видел Париж, можешь сходу сориентироваться в центре Берлина, а итальянское барокко – и вовсе, как говорится, дом родной... Всё говорит на одном эстетическом языке. Даже некий бонапартизм в западной архитектуре вполне сравним со сталинским ампиром Московского проспекта... (Вернее, последующее сравнимо с предыдущим). Никак не отделаться от привычки, что Россия – родина слонов... Хотя сама же в глухие семидесятые отчаянно восклицала: «Ампир вампира – путь в аэропорт...»)

Жизнь города... Наша повседневная, морозящая жизнь... Столица духа – и «великий город с областной судьбой» (выражение Даниила Гранина, точное, как диагноз). «Ленинбург» – мой когдатошний неологизм, из стихотворной рецензии на первые книжки Александра Кушнера. Не прижилось, потому что ни моих, ни подобных стихов до сумбурных и торопливых (успеть бы...) завихрений политической погоды, оказавшихся-таки перестройкой, отродясь не печатали. Горькие шутки ходили в узком кругу – интеллектуальный фольклор и горячительный самиздат в одном флаконе... Ещё припоминаю строчки из разных своих стихотворений о Ленинграде: «Буду жить здесь, глаза отводя, незастроенной высью проветрив, за гранитной спиной вождя, у пузатого Дома Советов»... Это про вынужденный обмен коммуналки на коммуналку, когда родился сын и поближе к состарившимся родителям: «Нагородили, думая, - построим...» или «смирняя спесь наследников барокко – до жалкой грусти: голод задарма...» Метафоры? Не только. Самая фантастическая метафора в поэзии изначально граничила с математической точностью термина. Это – я тогда – о «хрущёвках» и «брежневках», которые, тем не менее, дали тысячам горожан возможность покинуть неестественные и потому постепенно озверевавшие «дружные коллективы» ленинградских коммуналок... (Нашу входную дверь, помню, украшала табличка «квартира коммунистического быта». За ними, за табличкой и дверью, под осыпавшимся от времени и страха барским потолком с грифонами бушевал в сатиновых трусах пьяный сосед, член КПСС, пролетарий прославленного Кировского завода, тщедушный Миша и грозил топором затурканной, боязливой жене. Я предоставляла ей свой шкаф – в качестве политического убежища...) На доме нашем, на Зверинской 2, в пору моего школьничества тоже появилась табличка. Она сообщала, что в годы блокады здесь жил и писал советский поэт Николай Тихонов. Я знала наизусть его стихотворение «Мы разучились нищим подавать» и вздрагивала от баллады с ужасающей концовкой «Гвозди б делать из этих людей...» Теперь я понимаю, что исполнители революции всегда идут дальше её теоретиков и доводят их мысли до абсурда. Чернышевский людей на гвозди не переплавлял, а лишь положил спать на гвозди Рахметова...

Жизнь, как показывает сама жизнь, многомерна...

И как только начинаешь в ней что-то понимать – это означает начало прощания... Старики уносят свою, внезапно постигшую их мудрость, с собой, а те, кого они в Летний сад гулять водили, строят на уцелевшем фундаменте собственную философию и открывают для себя то, что могли бы просто принять на веру...

Но вот что неизменно передаётся – это любовь к Петербургу. Его любят и те, кто здесь не родился и не жил. Как Париж. Как Венецию. Любовь – вовсе не пьедестал для мемориальной гордыни. Гордиться своим городом – всё равно что гордиться своей национальностью: это твоя судьба, а не заслуга.

Спесь – не что иное как обратная сторона униженности. Петербургу незачем быть заносчивым, излишне снобистским. И не только потому, что он признанная столица русской поэзии.

Петербург строили все: и расчетливые (расчеты мостов) немцы, и немножко чрезмерные (роскошь, захлёстывающая изящество) итальянцы, и стоптавшие связку

лаптей по пути в столицу уроженцы дремучих расейских губерний... (Вот она - они, эти безымянные мужики, - истинная ложа каменщиков, в буквальном, а, значит, и в самом точном смысле гуманитарных понятий... Масоны пришли позже, а оголтелые патриоты могли бы здесь и вовсе не появляться: бочки с квасным патриотизмом, собирающие вокруг себя люмпенский люд, не слишком, согласитесь, уместны на фоне ажурных чугунных кружев и слепящих пилястр, выполненных, к тому же, по чертежам иностранцев...)

Петер-бург, в имени собственном – корень немецкий...

(Люблю смотреть в корень: и филологическое удовольствие, и вообще многое сразу становится яснее...)

Петербург – островок Европы в России, а не только окно в неё. Можно даже, наверно, сказать, что Петербург – с 1703 года – член Европейского Сообщества... Членство было прервано - на целую эпоху - по независящей от интеллигенции причине, которую перо не подымается назвать уважительной, но с которой нельзя не считаться: революция – это что-то вроде стихийного бедствия, опасность которого таится в самой природе. Народ – как спящий вулкан, пренебрегать им не гоже и вовсе не безопасно. Всегда найдётся кто-то, кто сочтёт себя вправе и в силах его разбудить, и не всегда это будет пламенный Герцен из туманного Лондона. Призрак коммунизма всё ещё бродит по Европе, теперь уже как компьютерный вирус, и будет себе видоизменяться и снова бродить, потому что когда люди становятся частью машины, настаёт черёд её разрушителей. Были луддиты – явились хакеры. Кто - идейный борец, а кто – дорвавшийся до разбоя уголовник или неизлечимый маньяк, в процессе разрушения понять трудно. Это становится ясным лишь на руинах цивилизации... (Говорят: время всё расставляет на свои места. Не всё. Только то, что по случайности уцелело...)

Чертовски обидно, что именно град Петров оказался тогда в эпицентре зашевелившейся лавы народного гнева и молниеносных амбиций большевиков. Что-то произошло в физике воздуха, щёлкнуло, сместился калейдоскоп звёзд, и разразилась страшная, непоправимая катастрофа. (Это мистически-материалистическое объяснение, вернее, беспомощная – из будущего - попытка такового. Ибо с Божьей помощью, если не поминать её всуе, город отделился бы небольшим социальным взрывом, пережив его как ещё одно наводнение...)

Но если бы Петербург не стал «колыбелью революции», я совсем не уверена, что именно здесь качалась бы моя колыбель... И не только моя. Многим поэтам, певцам Петербурга, вряд ли посчастливилось бы родиться на берегах Невы. Вполне возможно, нам были бы уготованы провинциальные улочки в черте оседлости, и не кариатиды, а курицы у крыльца... (Интересно, как бы мы их воспевали... Бродский бы, верно, рыже петушился и горько иронизировал... Кушнер бы попытался смириться и найти в этом свою провинциальную прелесть... А Кривулин, Шварц, Игнатова, я и все подобные прочие организовали бы общество еврейско-русской культуры, альтернативное одновременно местно- местечковой и белокительно-черносотенной, читали бы по домам Библию, а в шаббат к нам бы приезжал Охупкин пить водку и Пудовкина со столичной колбасой... Правда, всё это при том условии, если бы нам вообще удалось выучиться читать и писать, а не пришлось бы с детства печь пироги или же тачать сапоги... (Да и вообще, кто бы к кому приезжал – вопрос сложный: поэты Петербурга, как говорила одна моя знакомая учительница литературы, почти все – «полужидкие»...)

Увы, у российских евреев были причины поддержать революцию. А если они, как и другие лидеры большевизма, воспользовались причиной как поводом, со всей вытекающей отсюда кровью, то и судить их надо как всех прочих. За исторический бандитизм. Антисемитизма здесь было бы не более, чем русофобства, хотя, к

сожалению, и этим – честным – раскладом кто-то бы непременно попытался воспользоваться, да и давно пользуются, даже без следствия и суда.

И где? В Санкт-Петербурге, у Гостиного двора, для того и построенного, чтобы купцы со всего мира чувствовали себя как дома, купцы, а не продавцы «антисемитской правды»... Впрочем, последних становится всё меньше и меньше. Не то их – с душком – товар спросу уже не находит, не то городским новым Петербургом в нарядных мундирах такое общество – Невской перспективы посреди – вовсе не требуется. Не украшает оно собой фасад города и портит компанию, вернее, кампанию по привлечению иностранных граждан и инвестиций. Раздражают стражей порядка, так сказать, «заступники русского народа», может, и не смыслом речей, а, прежде всего, нищенским, вызывающе обездоленным своим видом...

(Одной скрюченной бабушке, еле стоявшей на полиатритных ногах и проклинающей «жидомасонов», я дала 5 долларов и, отсчитав газетёнки, у неё на глазах выкинула их в урну...)

Жизнь многомерна. И у каждого в ней своя, без кавычек, правда... Петербург – снова Европа, и он тоже стал презирать бедность, которую сам же и породил...

Но зато у Зимнего дворца опять звучат романские и другие языки, а не холостое эхо романтического залпа «Авроры»... (На его борту меня когда-то, но точно – 7-го ноября – принимали в пионеры... Дул пронзительный ветер, начальство задерживалось, пальтишко накинуть не разрешили. Домой вернулась с красным галстуком на груди и крупозным воспалением лёгких.)

Советская романтика – одна из детских болезней. (Есть скауты – почему не быть и пионерам...) Но разносчиками её были не только инфицированные идеологией инфантильные активисты, часто при этом – хорошие и добрые люди. Во главе эпидемии стояли циничные преступники.

Вот – дёргаю себя за рукав, и одёргиваю – ещё одна наша болезнь, причём, хроническая: прокурорский тон скромных присяжных заседателей, весьма далёких от юриспруденции полковников и ткачих. (Без этого суд над Бродским был бы, может быть, невозможен, при всей идеологии...)

Мы, дети, царили в александровских креслах ленинградского Дворца пионеров, где, среди прочих кружков, особенно славился клуб юных поэтов, и никто не взымал с родителей плату за износ позолоты и мрамора, и даже за обучение... Дворец пионеров был, если так можно выразиться, «поэтической снежирёвкой»: здесь, благодаря отеческой заботе советской власти, родилось целое поколение противостояния ей...

(Приговор может быть суров, но при его вынесении должны быть учтены все обстоятельства. Собственно, это дело специалистов. Я ж компетентна лишь в одном: в своей любви к Петербургу и в горечи прожитой жизни...)

Приезжая, - радуюсь: вместо очередей за колбасой – очереди в Эрмитаж!

Там, где все восхищаются Расстрелли, как правило, не расстреливают. Это, конечно, каламбур, но также и одна из примет погоды в обществе.

И европейцы, обнаружив, что железный занавес, столько лет изолировавший не только нас от всех, но и всех – от нас, наконец-то исчез, с открытой душой (и закрытыми на несколько замочков сумками...) хлынули в Петербург. Они очарованы. Они приворожены. И я, слушая восторженные монологи своих немецких друзей, родившихся, как и я, после войны, уже мечтаю о том времени, когда все снова поедут к нам, а не мы – ко всем: лучшие инженеры, зодчие, балетмейстеры, рабочие, все, у кого в руках – дело, а в сердце – доверие... (Сбудется ли?... Пуще расстрела боюсь ещё одного обмана. Пуля убивает мгновенно, а ложь – ежеминутно, всю жизнь, её хватает на несколько поколений...)

Приезжая, я до боли в глазах смотрю на Неву: она – синяя и лучистая. А, например, Сена – мутно-зеленоватая. Живя здесь, пробегая почти каждый день по звонкой гранитной набережной, честно признаюсь, – не замечала... (Лишенный дали – всегда поневоле дальтоник, даже если не слеп и не позволил надеть себе на глаза розовые очки... Черная оптика тоже не может быть объективной...)

Приезжая, радуюсь Петербургу ХХ1-го века: блестят от дождя и солнца новые – каменная мозаика – пешеходные мостовые. Малая Садовая, Малая Конюшенная – время больших перемен... (Фундаментальных или же лишь косметических – покажет опять-таки время...)

Приезжая, невольно вздрагиваю, когда вдруг посреди трепетного балета в соседней ложе взвизгивает мобильник (дебильник...) и раскатистый бас гремит по-хозяйски, посылая звонящего по тому самому адресу, который так неуместен не только здесь, в императорском Мариинском, но и вообще в этом благородном городе...

А речь шла о каком-то важном объекте, который подводят под крышу, то есть, грубо говоря (куда уж грубее...), монументально говоря, – о построении капитализма в Санкт-Петербурге...

Капитализм в Санкт-Петербурге ещё не подведён под крышу...

А крыша, как говорилось на студенческом сленге моего поколения, уже поехала...

Мне кажется, здесь мало кто представляет себе, что это вообще такое в конечном итоге. («Эх-ма, опять доллар лихорадит", – вздыхали когда-то пенсионеры на лавочке перед нашим домом и сочувствовали голодным американцам... Теперь, с той же степенью осведомлённости, американцам завидуют...)

Приезжая, я тоже перестаю понимать, что здесь и везде происходит, и происходит ли...

Капитализм – это раскатистая энергия хамов плюс американизация всей страны? (Даже на обыкновенной районной бане – вывеска по-английски. Интересно, кто из иностранных туристов захочет её посетить и помыться в шайке?.. Разве что вдруг объявится какой-нибудь диссертант по Зоценко и экзотически почтит память, на мой взгляд, не сатирика, а самого – из всех – социалистического реалиста... И то не потому, что писатель, а за то, что жертва режима... Понять такого писателя могут лишь там, где живы его реалии.)

Жизнь многомерна...

Вишнёвый сад, верно, зачах бы и без Лопухина.

Мир отвратительно практичен, в нём много ненужных вещей и мало необходимых для человеческого существования нюансов. Вернее, у человека нет времени, а потом уже и желания их замечать.

В этом смысле замедленная Россия ещё не погибла для будущего. Если только то, что я имею ввиду, – действительно, Россия, а не пастельная картинка, пастораль, пастушеская идиллия в ностальгическом воображении давно оторвавшихся от её унавоженной почвы и разочаровавшихся в конструктивном раю сентиментальных эмигрантов. Я тоже – идеалистка, я хочу, чтобы у меня осталась хотя бы иллюзия. Это что-то вроде плюшевого мишки с оторванной лапой, которого **нельзя** выбросить. Но смешно и глупо надеяться, что твоя старая, потрёпанная игрушка понравится внукам... Для них это – просто мешок с опилками.

Жизнь многомерна...

Во взрослом возрасте детские болезни переносятся особенно тяжело, Россию лихорадит от вируса перемен, подхваченного с почти вековым опозданием.

Осложнение от болезни: тоска по «здоровому» прошлому...

Приезжая, я удивляюсь: в России тоже тоскуют по России, и, самое невероятное, в Санкт-Петербурге, - тоже... Тоскуют по равенству, братству, Ленинграду...

Бывает, стало быть, и такой вид эмиграции: не они покинули родину, а родина – их...

Из меня плохой Лука-утешитель, лукавства не достаёт. А было ли всё это, что вы придумали?...

Культура? Советская?!

Это что, - ПТУ-шный жаргон крушителей статуй в беломраморном Летнем саду?

А аббревиатурный (бр-р-р...) новояз и «высокий штиль» «ценных партийных указаний»? Та ещё, извините за выражение, изящная словесность, не говоря уже об обкомовском свинстве на эрмитажной посуде...

Ярко выраженная серость коммерции ничуть не хуже советской мышастой серости, гордо взвалившей на себя и на всех нас одинаково-несгибаемые пальто фабрики «Большевичка»... (Пальто были сработаны на совесть, добротны, как саркофаги. Многие носители этих пальто и этих идей искренне верили, что и то, и другое – навечно...)

Петербургу «нейдёт» вульгарность «новых хозяев».

Но зато как Петербургу идёт окрыляющий даже статуи ветер свободы!

Везде, на всех сколько-нибудь уважающих себя и горожан книжных прилавках - Блок, Ахматова, Мандельштам, Бродский... (Я не говорю о базарном глянце других раскладов, пусть их и больше. Такие обложки похожи на подарки «Миклухи-маклака» туземцам... Но теперь есть право выбора - и можно остаться гордым аборигеном санкт-петербургской культуры... Пусть даже нищим, но не меняющим свои консервативные обетованные приоритеты на дразнящую горсть стеклянных бус.)

Самое непривычное и самое трудное для бывшего советского человека: осуществить свалившееся ему на голову как счастье и как снег (для меня счастье и снег – синонимы, живу на юге ...) право выбора...

Выбирает ли он себе новую шапку или новое правительство: чем шире ассортимент, тем больше мучений... Лоб пересекают линии раздумья, сомненья, страдания – знаки мыслительного процесса ...

Морщины свидетельствуют о зрелости.

Петербургу – 300.

Это не так уж и много. Большую часть года я хожу по немецкой земле, хранящей следы ещё римский сандалий...

И безумно жаль, что нельзя прожить в каждой точке на карте мира одну человеческую жизнь. (Господи, сколько везде красоты - и твоей, и рукотворной...)

Но моя родина – Петербург.

И потому именно ему, Петербургу – моя любовь и музыка. Он дал мне её – и я хочу её ему вернуть: как умею, как получилось...

А получилось – не совсем «Гимн великому городу», как у Глиэра...

Ода у меня перетекает в элегию, фортепьянные строфы перебиваются хриплыми гитарными аккордами, диссидентский обличительный пафос срывается в лукавую частушку с притопом...

(А патетически-лирическое предисловие, как вы уже успели заметить, в обличительный, против замысла, фельетон.)

Ирония и пафос, кажется, доконали друг друга.

Жизнь многомерна...

Жизнь моего поколения – дисгармония, и не мы в этом виновны. Впрочем, в современном искусстве тоже размыты все жанры, а кантата, по моим скромным представлениям о музыкальных канонах, – жанр изначально демократичный...

Буду рада, если эти стихи станут петь в родном городе. Просьба только: не забывать, не путать, **не упрощать** слова. (Извините за высокопарное напоминание, но «Вначале было Слово...» Библию мы читали в котельных, когда нас вынудили уйти на самое социальное дно: ниже – только земля... Оттуда и воспарили: кто в психушку, кто – на других крыльях – в эмиграцию...)

Буду огорчена, если обидятся ветераны войны на жёсткую песню. Ну, конечно, это не обо всех, ну, конечно, даже те, о ком – и сами – жертвы. Об этом тоже прямо и честно сказано в песне. Речь идёт не о людях, а о явлении. Более того: я помню о них, мне за них – больно, а помнят ли о них те, кто подписывал им бессчётно (бумаги не жаль...) почётные грамоты и платил нищенские пенсии?

Всегда, не только сейчас.

Мой отец, тоже ветеран войны, инженер с двумя высшими образованиями и без партийного билета – тире - умный и порядочный человек - умер в 1980 году. 10-го мая... Рухнул с пеной у рта, вернувшись со встречи однополчан, где их оказалось уже - всего – двое... Хоронить было не на что. Помогли родные, друзья, кто чем мог. А потом – опубликованные лишь спустя десять лет – мои стихи: «Себе бы и горсть не просила/ Земли, над которой стою./ Твой вечный защитник, Россия,/ За взятку лежит на краю...»

Он остался лежать на краю Южного кладбища, у тех самых Пулковских высот, которые защищал. И, как тогда, на войне, скоро к нему переехала мама...

Знают ли они, что самолёты, которые над ними гудят, прилетают уже в другой

город: в Санкт-Петербург?..

Я не хочу говорить о том, что у большинства моих немецких друзей родители ещё живы. Всем им – за девяносто, и они не могли не быть на той войне. И были ранены. И не однажды. Дело не только в медицине или условиях жизни, но и в генетике. И в жребии Божьем. И просто в личной удаче. И всё же...

И всё же... Бесстрашная армия дала победить себя бумажным оружием: к тому времени уже и вовсе бездарной и бесчеловечной идеей... Жизнь людей для советской власти никогда не была предметом первой необходимости. Думаю, что и для всякой другой власти – тоже, но её, власть, - везде, действительно, выбирали... Могли, в случае чего, и не выбрать... Собственно, так сейчас и в России. Но жизнь – прожита. И чем старше человек – тем он консервативней. Легче цепляться за иллюзию, чем признаться в ошибке. Тем более, - в поражении... Тем более тому, кто всегда считал себя победителем.

«Отечественная литература – отечественная война...» - этим строкам уже много спиральных лет. Они могли не понравиться, но их нельзя было не заметить.

Наших стихов, настоянных на серебряной влаге – поэзии серебряного века, никто, кроме «литературоведов в штатском» не видел и не слышал. (Интересно, знает ли молодёжь Петербурга, что это за эвфемизм... Пусть лучше не знает...)

Мы не могли изменить общество, но мы старались не изменять себе. Это утешает. Хотя жаль, что сила сопротивления истощила органы восприятия. Я вижу все цвета, десятки оттенков, но часто не замечаю обыкновенных прекрасных цветов. Шипы мне сигнализируют о теоретической возможности розы...

Но когда я приезжаю в Петербург, вдруг всё возвращается: и запахи, и рифмы, и предвкушение чуда, которое, собственно, уже произошло: ведь покидала я

Ленинград...

И ещё - музыка, необъяснимая, сколько ни объясняй музыка, разлитая в воздухе и заливающая грудь, музыка с синеватым отливом в мраморно-солнечных прожилках. Наводнение музыки по самой высшей черте...

(Останешься – захлебнёшься...)

...Вот уже и мы, моё поколение, подходим всё ближе к самому краю...

А кто-то (не кто-то, а друзья и коллеги по когда-то подпольной культуре города Ленина) – поэт Виктор Кривулин, композитор Сергей Курёхин – уже сорвались за черту...

Виктор присутствует в этой кантате как одна из трагедий города. Рядом с Блоком и Бродским. И кто теперь посмеет сказать, что автор преувеличивает...

Слушаю пластинку Сергея, подаренную в нашу последнюю встречу (где? – Ну, конечно же, у «Каткиного садика», где же ещё назначают встречи горожане; Катарина прусская прекрасно интегрировалась на русском престоле, что говорит о величии не только её личности, но и о великодушии - величии души - народа, признавшего чужестранку своей Фелицей); слушаю дрожаще-дребезжащую музыку из «Господина оформителя», и думаю: вот бы кому доверить эти стихи, кто бы всё понял, да ещё так перевернул, что и о стихах бы все, наверно, забыли... Но это был бы дословно точный перевод с моего – на клавишный, со всеми переливами и перепадами...

Борис Гребенщиков, Александр Сокуров, и те, чьих имён я не знаю, потому что десять лет назад они ещё были детьми, а сейчас – уже поколение, - всё это мой родной, мой больной, мой заслонивший своими роскошными и страшными картинами стерильные стены в благополучном штутгартском доме не на минуту не забываемый Петербург...

В Петербурге есть что-то потустороннее, спиритическое, будто его поделила на сферы влияния дружелюбная мафия мифов... (В Ленинграде, ловлю себя на слове, такая метафора не пришла бы в голову, хотя оснований для неё было не меньше... Это уже зеркальная примета противоречивого, противостоящего времени...)

Петербург – город реминисценций и аллюзий. Они вошли нам не в память, а в поры. Я уверена, что все поймут и намёки, и даже полунамёки, и узнают те несколько цитат, которые сами влились в мой текст. Конечно, в кавычках. (Миры виртуальны, мысли летают туда-сюда, но не дай Господь при(Х)ватизировать что-то чужое, как какой-нибудь расторопный «новый хозяин» - старинный особняк в опять растерявшемся Петербурге...)

И всё же мне хочется посметь взять эпиграфом к этой кантате-поэме те стихи, которые не устаю повторять, которые, можно сказать, стали эпиграфом к самому Петербургу – выдающемуся произведению во всех возможных жанрах искусства...

«Все флаги в гости будут к нам...»

(А.Пушкин)

«Давно стихами говорит Нева,
Страницей Гоголя ложится Невский...»

(С.Маршак)

«В Петербурге мы сойдёмся снова,
Будто солнце мы похоронили в нём...»

«Петербург, я ещё не хочу умирать,
У меня телефонов твоих номера...»

(О.Мандельштам)

«Ни страны, ни погоста

Не хочу выбирать.
 На Васильевский остров
 Я вернусь...»
 (И.Бродский)

И если когда-то кто-то присоединит к этому золотому списку хоть одну мою строчку, посвящённую Петербургу, то...

Впрочем, нельзя и страшно уже искушать судьбу... Особенно – в таком мистическом городе...

Ольга Бешенковская

Чтобы все флаги были у нас в гостях,
 Город великий строится на костях.
 Но и царю великому не перечь:
 Сгинем в болоте, если костями не лечь.

Восемнадцатый век начинается здесь:
 У лиловых разливов Невы.
 И, глядишь, поубавится шведская спесь
 И боярская ярость Москвы...

Чтобы все флаги были у нас в гостях,
 Город великий строится на костях.
 Но и царю великому не перечь:
 Сгинем в болоте, если костями не лечь.

Позже время придёт купола золотить,
 Нынче – потом скрепляй кирпичи!
 И не жалко за город такой заплатить
 Светом тоненькой жизни-свечи.

Чтобы все флаги были у нас в гостях,
 Город великий строится на костях.
 Но и царю великому не перечь:
 Сгинем в болоте, если костями не лечь.

Петропавловской крепости прям силуэт,
 Пушки полдень торжественно бьют.
 И не скоро ещё зашуршит парапет –
 Ленинградских влюблённых приют.

Чтобы все флаги были у нас в гостях,
 Город великий строится на костях.
 Но и царю великому не перечь:
 Сгинем в болоте, если костями не лечь.

Отраженья и листья дрожат и горят
 И скользят в тишину глубины.
 И двенадцать Коллегий построятся в ряд,
 Как двенадцать элегий, стройны.

Чтобы все флаги были у нас в гостях,
 Город великий строится на костях.
 Но и царю великому не перечь:
 Сгинем в болоте, если костями не лечь.

Город в скобках мостов и в кавычках эпох
 Станет лучшим безумствам виной:
 Достоевского хрипы и пушкинский вздох
 Будут слышать жильцы за стеной...

Чтобы все флаги были у нас в гостях,
 Город великий строится на костях.
 Но и царю великому не перечь:
 Сгинем в болоте, если костями не лечь.

Он взойдёт, восхищённый твореньем, творец
 На звенящего медью коня,
 Чтобы узреть диковинный Зимний дворец
 И на Невском – тебя и меня...

Чтобы все флаги были у нас в гостях,
 Город великий строится на костях.
 Но и царице попусту не перечь:
 Сгинем в болоте, если костями не лечь.

Катерининский век, Лизаветинский век –
 Это детство твоё и моё.
 И с почтеньем садится сиятельный снег
 На чугунных узоров литьё.

Чтобы все флаги были у нас в гостях,
 Город великий строится на костях.
 Но и в чахотке - зодчему не перечь:
 Сгинем в болоте, если костями не лечь.

Это больно, когда вырубается бор
 И доносится стон каторжан.
 Обними же нас крепче, Казанский собор, -
 Всех твоих горожан-прихожан!

Чтобы все флаги были у нас в гостях,
 Город великий строился на костях.
 Здравствуй, окно в Европу, - смотри, страна!
 (Шведу грозить не станем – нальём вина...)

КОНИ КЛОДТА

Всяк кулик – своё болото,
 Вот и я безмерно чту...
 Кони Клодта, кони Клодта
 На Аничковом мосту!
 Чем вы дальше – тем вы ближе,
 Теплокровнее, родней.
 Хоть в Берлине и в Париже
 Столько вздыбленных коней...
 Но сквозь мира позолоту
 Проступают налету
 Кони Клодта, кони Клодта
 На Аничковом мосту!
 Память сердца – наше иго.
 Только выдохнешь, греша:
 Над Венецией квадрига
 Вероломно хороша...
 А в виски стучится кто-то:
 Это значит, - на посту
 Кони Клодта, кони Клодта
 На Аничковом мосту...
 У степных – такие лица!..
 (Пастернаку ль – не родня?..)
 Можно запросто влюбиться
 В грустноглазого коня...
 Распахнуть ему ворота!
 Но – врываются в мечту
 Кони Клодта, кони Клодта
 На Аничковом мосту...
 И – сошедшей капитанкой
 С корабля уплывших лет -
 Надломить бы над Фонтанкой
 Свой прощальный силуэт...
 Лист осенний... Чья-то лодка...

Но...

Не пустят за черту
 Кони Клодта, кони Клодта
 На Аничковом мосту...
 Город мой, твои таланты
 Разбрелись по всей земле...
 Но вернутся иммигранты
 Строить новые пале!
 Здесь высокой жизни нота!
 И звучит, вплетаясь в быт,
 Имя Клодта, имя Клодта –
 Стук
 приглушенный
 копыт...

ДОМИК В КОЛОМНЕ...

Как сбирался в Петербург Петипа, –
 набежала тут французов толпа:
 «Там же в шурах по проспектам гуляют!..
 Не ходи ты в Петербург, Петипа!...»

Петипа им отвечает: «Адъё!
 Ох, и тёмное французы – людъё...
 В Петербурге процветают искусства
 и парижское там носят шматьё!»

Императорский театр. Лепота...
 На сто лет все раскупили места!
 (А что столько же почти до ремонта –
 так ведь это не порок, беднота...)

XXX

Всё тот же снег ресниц касается,
 Всё те же трепетные «па»...
 И до сих пор ещё красавица
 спит по рецепту Петипа...

Пускай туристы тешатся колоннами,
 под ангелом толпятся у Столпа.
 А нам с тобой всю ночь бродить Коломною
 и вспоминать беднягу Петипа...

Темнеют редкие прохожие
 и зябко горбятся в ночи:
 то вдруг на Пушкина похожие,

то – на скрипичные ключи.

Пускай туристы тешатся колоннами,
под ангелом толпятся у Столпа.
А нам с тобой всю ночь бродить Коломною
и танцевать под дудку Петипа...

Стихи... Метель... Консерватория...
Всё Хореографом дано...
И жизни нашей траектория,
Боюсь, рассчитана давно.

Пускай туристы тешатся колоннами,
под ангелом толпятся у Столпа.
А нам с тобой всю ночь бродить Коломною
и пить вино за гений Петипа...

Но хоть всю ночь тверди, печальная,
шагов задумчивых пароль,
не скажет площадь Театральная,
какая нам досталась роль...

Пускай туристы тешатся колоннами,
под ангелом толпятся у Столпа.
А нам с тобой всю ночь бродить Коломною, –
не зарастай, народная тропа...

Декабристы

Снег ложится серебристый
на черненье декабря.
Помнит площадь Декабристов,
Как, свободой горя...

Первый луч – кинжалом по коре...
Господа, какие будут мнения?
Ваша честь, построиться в каре! –
Наша честь дороже, чем имения!

И, ломая палисадник,
отвергая пьедестал,

с ними вместе медный всадник
в жестком стремени привстал...

Первый луч – кинжалом по коре...
Господа, какие будут мнения?
Ваша честь, построиться в каре! –
Честь всегда дороже, чем имения!

Слово клятвы – не водица.
Снег истории – багрян.
И качаются как птицы
Пять помешанных дворян...

Круг Сенатской – в лунном серебре.
Господа, какие будут мнения?
Положа на Библию Дорэ, -
Это, право, недоразумение...

А над площадью Дворцовой
век спустя кружится лист.
Бунт сивушно-огурцовый
затекает журналист...

Нам легко судить о той поре:
Звёздный скос и разума затмение...
Но звучит: «Товарищи, в каре!
Счастье всех дороже, чем имения!»

Не стыдись они любили
этот жгучий, с кровью, флаг.
Ни с какой крутой Сибирью
не сравнится их ГУЛАГ.

Ну а мы: в подполье – как в каре...
Нет имён – одни местоимения...
Господа, до встречи в декабре! –
За свободу, а не за имения!

Лунин, Пестель и Рылеев
(с ними – Сахаров и Бог)
не живут до юбилеев
ими созданных эпох...

Но сказав: «История, - антрэ!»,
помним их неравное борение.
Этот снег светлейший в декабре –
дум и душ высокое парение...

ПЕСНЯ О ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЕ

Сколько можно о кусочке хлеба?
 Столько можно, сколько сердцу надо.
 Потому что помнит это небо,
 Как сжималась синяя блокада...

Мы не писали оды на...
 Нам не казалось, что страна,
 друзей сажавшая, прекрасна...
 Но, не отряхивая сна,
 скажу, какая сторона
 при артобстреле – наиболее опасна...

Этой темой брезговали те, кто
 Не хотел быть хлебным спекулянтом...
 Лишь теперь касаюсь этой темы,
 Проходя по штрассе – эмигрантом.

Мы не писали оды на...
 Нам не казалось, что страна,
 друзей сажавшая, прекрасна...
 Но, не отряхивая сна,
 скажу, какая сторона
 при артобстреле – наиболее опасна...

Жизнь всегда понятнее с изнанки:
 Сколько нитей, пятен полустёртых...
 Было – помню – страшно сесть на санки,
 Потому что... в них катают мёртвых...

Мы не писали оды на...
 Нам не казалось, что страна,
 друзей сажавшая, прекрасна...
 Но, не отряхивая сна,
 скажу, какая сторона
 при артобстреле – наиболее опасна...

Сколько лет уж прорвана блокада,
 А за ней – блокада пропаганды, -
 Вижу хлеб, руины Ленинграда
 И платком обмотанные гланды...

То здесь , то там - опять война.
 И та же самая луна

на мир взирает безучастно.
 Полночи стоя у окна,
 ответь, какая сторона,
 в безумье всех - не наиболее опасна....

ПЕСНЯ О ВЕТЕРАНАХ

Ветераны, ветераны,
 ночью ноют ваши раны,
 разъедает ваши раны - жизни соль:
 Для того ли рисковали
 и шинели надевали,
 чтоб в шкафу их запорашивала моль...

Ветеран бельё латает,
 потому что нехватает
 денег сразу на буханку и носки...
 Нет, незря вы воевали,
 зря – за всё голосовали
 и раздумьями не мучали виски...

И ходили ветераны
 на собранья, как бараны,
 где их баснями кормили – и пасли...
 Всех вас вспомним поимённо.
 Но зачем же вы знамёна,
 от вранья, должно быть, красные – несли...

Вы не знали о ГУЛАГе. –
 не пришло такой бумаги,
 ваша «Правда» не писала о таком.
 Вы бранили диссидентов
 и заморских президентов,
 и с авоськами плелись за молоком...

Ветераны, ветераны,
 далеки чужие страны...
 (А на танке – так бесплатно, коли цел...)
 Вам поклон, что мы не в рабстве.
 Но скажите миру: «Здравствуй!» -
 Он прекраснее и больше, чем прицел...

Ветераны, ветераны,
 не тревожьте ваши раны,
 не шумите понапрасну у дворцов:
 дескать, всё разворовали...
 А когда вы воевали, -

разве не было ворюг и подлецов?...

Грустно в мире капитала:
у кого-то больше стало...
Что же, снова – расстрелять и отобрать?..
Начинают – бузотёры,
но приходят – мародёры...
Ветераны, вы же – воинская рать!..

И не поздно, и не рано
стать мудрее ветерану.
Пусть порадует заслуженный парад...
Он обижен и затуркан
ветеран из Петербурга,
что нам спас – и уготовил... Ленинград.

ПЕСНЯ О ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ

На Васильевском острове запахе солоноваты.
Неуклюжие танкеры в дымке сквозят как фрегаты.
И неслышно скользят: повелительно, плавно и робко.
И набросок моста – как закрытая круглая скобка.

Васильевский остров, и Заячий остров,
И прочие все острова...
Чтоб вспыхнул кораблик – был надобен остов,
И плотник – всему голова...

А вода всё течёт на приманку далёкого света:
В серебристых намёках и быстрых чешуйках от ветра.
Эту влагу и дрожь мы торжественно в поры впитали:
Вот стоишь на ступеньке, а кажется – на пьедестале...

Васильевский остров, и Каменный остров,
И Кировские острова...
До первого гостя, до пенного тоста
Баюкала стапель Нева...

Будто царский последыш, которого всё ж не убили,
Принимаешь парады, а флагман – кораблик на шпиле...
Ветер ломится в грудь, волны к детским ботиночкам жмутся.
Мы – клопы коммуналок, но мы – навсегда петербуржцы!

Васильевский остров, особенный остров,
Роднее, чем все острова.
Горят маяками багровые ростры
И машет мостами Нева...

Никогда не померкнет болотной судьбы позолота.
И, простит Крузенштерн, я не знаю надёжней оплота,
Чем гипноз красоты, многоярусный сон от рожденья,
Подсознание Родины, хрупкое. как отражение...

Омытый любовью Васильевский остров,
Сиренывый дым из трубы...
Здесь, как по ладони, читаются остро
Все линии нашей судьбы...

ПЕСЕНКА ЛЕНИНГРАДСКИХ ОКРАИН

Под развесистым барокко -
тусклый свет советских «груш».

А ещё была морока:
ехать в купчинскую глушь.
Тут, как чукча, завывая,
впору петь на голоса:
«Пропадай, моя трамвая, -
все четыре колеса...»

Стыли пихты, плыли яхты,
а теперь – нейона всплески...
Ох, ты, Охта, - ах, ты, Лахта, –
вы уже почти что Невский!

А ещё у нас Гражданка
ждёт метро – как именин...
На снегу лежит «пол-банка»,
Рядом с нею – гражданин...
Ты с какого полустанку?
Али Снежный Чоловек?
Гражданина и Гражданку –
всё заносит тихий снег...

Стыли пихты, плыли яхты,
а теперь – нейона всплески...
Ох, ты, Охта, - ах, ты, Лахта, –
вы уже почти что Невский!

Новосёл и новосёлка,
вы откуда и куда?
Из Весёлого Посёлка –
и до площади Труда!..
Не люблю антисемитов –
Неприятная черта...
Не люблю «антилимитов»:
город строит – лимита!

Стили пихты, плыли яхты,
а теперь – неона всплески...
Ох, ты, Охта, - ах, ты, Лахта, –
вы уже почти что Невский!

ВЕРСТОВЫЕ СТОЛБЫ

Верстовые столбы, верстовые столбы
от Фонтанки – до Средней Рогатки.
Это в книге моей бесприютной судьбы
на счастливую память закладки...

Город Родиной был, а не гордый союз,
как матрёшки, лукавых республик.
Здесь Растрелли растлил мой неопытный вкус
и Филипповской булочной бублик...

Верстовые столбы, верстовые столбы
от Фонтанки – до Средней Рогатки.
Это в книге моей бесприютной судьбы
на счастливую память закладки...

Я хочу, чтобы город меня вспоминал,
как на мост опоздала к разводу.
Как обвёл нас вокруг пальца Обводный канал
и как вывел на чистую воду...

Верстовые столбы, верстовые столбы
от Фонтанки – до Средней Рогатки.
Это в книге моей бесприютной судьбы
на счастливую память закладки...

Завяжите глаза, - я приду наизусть
с Петроградской – к подножью атлантов.
И в шершавую тёплую стену уткнусь
тихой девочкой в бабочках бантов.

Пряча профиль зловещего Данта
И Ахматовой смертную грусть...

XXX

Здесь сошлись и Париж, и Венеция,
в рифму кружатся ямб и бореи...
Приезжайте, кончается лекция,
в Петербург приезжайте скорей!

Только, прошу вас, окурок не бросьте,
люди, на улице зодчего Росси!
Только, пожалуйста, будьте добры,
это ж музей – проходные дворы...

Жолтых окон, как листьев, неведомо
по воде разбросали дома.
Слева – Мойка, а там – Грибоедова,
и повсюду – беда от ума...

Только, прошу вас, окурок не бросьте,
люди, на улице зодчего Росси!
Только, пожалуйста, будьте мудры:
не углубляйтесь в чужие дворы...

Молодёжь здесь ещё не исколота,
пьёт свой русский прозрачный бальзам...
И такое слепящее золото,
что трудящимся больно глазам...

Только, прошу вас, окурок не бросьте,
люди, на улице зодчего Росси!
Только, пожалуйста, будьте шустры:
лучше бегом – проходные дворы...

Всё у нас обновляется -чинится,
и повсюду - порядок и страж.
Вы не спутайте с офисом чьим-нибудь
наш небесный лепной Эрмитаж...

Только, прошу вас, окурок не бросьте,
люди, на улице зодчего Росси!
Только, пожалуйста, будьте добры
к сереньким кискам из каждой дыры...

Есть у нас и Париж, и Венеция,
и колотится в дамбу – хорей...
Приезжайте, окончена лекция,
в Петербург приезжайте скорей!

В Петербург, Ленинбург, в город пург! Демиург, в Петербург, в Петербург, в Петербург,
в Петербург...

XXX

Этот город, этот город, этот город
 враг не сломит, Бог по-прежнему хранит.
 Этот говор, благородный тихий говор –
 как волной отполированный гранит.

«Петербург, я ещё не хочу умирать,
 у меня телефонов твоих номера...»
 Петербург, здесь повсюду цитаты цветут,
 будто солнце и впрямь похоронено тут...

Этот город, этот гордый, бледный город
 смерч не тронет, Бог по-прежнему хранит.
 Этот говор, благородный тихий говор –
 как волной отполированный гранит.

Петербург, здесь кладбищенский ветер кружит.
 Рядом с Ксенией – Виктор Кривулин лежит.
 Ночью камни кладут – создается Храм...
 И уходят обратно к Христу по утрам.

Этот город, этот город, этот город
 Бесы жалуют и Ксения хранит.
 Этот говор, благородный тихий говор –
 как волной отполированный гранит.

Петербург, здесь прославлен любой уголок.
 Здесь вдоль Пряжки гуляли и Бродский, и Блок.
 А по Невскому гоголем ходит поэт,
 у которого всё ещё имени нет...

Этот город, этот город, этот город
 Недобитая Поэзия хранит...
 Этот говор, благородный тихий говор –
 как волной отполированный гранит.

Петербург, хорошо, что не здесь – мавзолей...
 Что не так уж ты стар в свой седой юбилей.
 Петербург, у тебя ещё всё впереди!
 Петербург – и торопится сердце в груди:

В Петербург, в Петербург, город пург, Петербург, Петербург....

Этот город, благородный строгий город

Танк не сломит, Бог и музыка хранит.
Этот говор, многолюдный тихий говор –
как волной отполированный гранит.

Этот город, златошпильный этот город
чорт не купит, если мэрия хранит...

Этот город, трёхсотлетний этот город
Дождь не смоеет, Бог и молодость хранит!

2002

Штутгарт